

АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ, БОРИС СТРУГАЦКИЙ

ПОЛДЕНЬ, XXII ВЕК

МАЛЫШ

Малыш

Борис Натанович Стругацкий, Аркадий Натанович Стругацкий

Аннотация
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий.
МАЛЫШ
Глава первая. ПУСТОТА И ТИШИНА
Глава вторая. ТИШИНА И ГОЛОСА
Глава третья. ГОЛОСА И ПРИЗРАКИ
Глава четвертая. ПРИЗРАКИ И ЛЮДИ
Глава пятая. ЛЮДИ И НЕЛЮДИ
Глава шестая. НЕЛЮДИ И ВОПРОСЫ
Глава седьмая. ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ
Глава восьмая. СОМНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

Аннотация

В повести «Малыш» рассматривается педагогическая проблема контакта с земным ребенком, «космическим Маугли», воспитанным негуманоидными инопланетянами. При решении ее земная цивилизация терпит моральное поражение.

Экранизация: Неназначенные встречи

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
МАЛЫШ

Глава первая
ПУСТОТА И ТИШИНА

— Знаешь, — сказала Майка, — предчувствие у меня какое-то дурацкое…

Мы стояли возле глайдера, она смотрела себе под ноги и долбила каблуком промерзший песок.

Я не нашелся, что ответить. Предчувствий у меня не было никаких, но мне, в общем, здесь тоже не нравилось. Я прищурился и стал смотреть на айсберг. Он торчал над горизонтом гигантской глыбой сахара, слепяще-белый иззубренный клык, очень холодный, очень неподвижный, очень цельный, без всех этих живописных мерцаний и переливов, — видно было, что как вломился он в этот плоский беззащитный берег сто тысяч лет назад, так и намеревается проторчать здесь еще сто тысяч лет на зависть всем своим собратьям, неприкаянно дрейфующим в открытом океане. Пляж, гладкий, серо-желтый, сверкающий мириадами чешуек инея, уходил к нему, а справа был океан, свинцовый, дышащий стылым металлом, подернутый зябкой рябью, у

горизонта черный, как тушь, противоестественно мертвый. Слева над горячими ключами, над болотом, лежал серый слоистый туман, за туманом смутно угадывались щетинистые сопки, а дальше громоздились отвесные темные скалы, покрытые пятнами снега. Скалы эти тянулись вдоль всего побережья, насколько хватало глаз, а над скалами в безоблачном, но тоже безрадостном ледяном серо-лиловом небе всходило крошечное негреющее лиловатое солнце.

Вандерхузе вылез из глайдера, немедленно натянул на голову меховой капюшон и подошел к нам.

— Я готов, — сообщил он. — Где Комов?

Майка коротко пожала плечами и подышала на застывшие пальцы.

— Сейчас придет, наверное, — рассеянно сказала она.

— Вы куда сегодня? — спросил я Вандерхузе. — На озеро?

Вандерхузе слегка запрокинул лицо, выпятил нижнюю губу и сонно посмотрел на меня поверх кончика носа, сразу сделавшись похожим на пожилого верблюда с рысьими бакенбардами.

— Скучно тебе здесь одному, — сочувственно произнес он. — Однако придется потерпеть, как

ты полагаешь?

— Полагаю, что придется.

Вандерхузе еще сильнее запрокинул голову и с той же верблюжьей надменностью поглядел в сторону айсберга.

— Да, — сочувственно произнес он. — Это очень похоже на Землю, но это не Земля. В этом вся беда с землеподобными мирами. Все время чувствуешь себя обманутым. Обворованным чувствуешь себя. Однако и к этому можно привыкнуть, как ты полагаешь, Майка?

Майка не ответила. Совсем она что-то загрустила сегодня. Или наоборот — злилась. Но с Майкой это вообще-то бывает, она это любит.

Позади, легонько чмокнув, лопнула перепонка люка, и на песок соскочил Комов. Торопливо, на ходу застегивая доху, он подошел к нам и отрывисто спросил:

— Готовы?

— Готовы, — сказал Вандерхузе. — Куда мы сегодня, Геннадий? Опять на озеро?

— Так, — сказал Комов, возясь с застежкой на горле. — Насколько я понял, Майя, у вас сегодня квадрат шестьдесят четыре. Мои точки: западный берег озера, высота семь, высота двенадцать. Расписание уточним в дороге. Попов, вас я по-

прошу отправить радиограммы, я оставил их в рубке. Связь со мной через глайдер. Возвращение в восемнадцать ноль-ноль по местному времени. В случае задержки предупредим.

— Понятно, — сказал я без энтузиазма: не понравилось мне это упоминание о возможной задержке.

Майка молча пошла к глайдеру. Комов справился наконец с застежкой, провел ладонью по груди и тоже пошел к глайдеру. Вандерхузе пожал мне плечо.

— Поменьше глазей на все эти пейзажи, — посоветовал он. — Сиди по возможности дома и читай. Береги цветы своей селезенки.

Он неспешно забрался в глайдер, устроился в водительском кресле и помахал мне рукой. Майка наконец позволила себе улыбнуться и тоже помахала мне рукой. Комов, не глядя, кивнул, фонарь задвинулся, и я перестал их видеть. Глайдер неслышно тронулся с места, стремительно скользнул вперед и вверх, сразу сделался маленьким и черным и исчез, словно его не было. Я остался один.

Некоторое время я стоял, засунув руки глубоко в карманы дохи, и смотрел, как трудятся мои ребятишки. За ночь они поработали на сла-

ву, поосунулись, отощали и теперь, развернув энергозаборники на максимум, жадно глотали бледный бульончик, который скармливало им хилое лиловое светило. И ничто иное их не заботило. И ничего больше им было не нужно, даже я им был не нужен — во всяком случае, до тех пор, пока не исчерпается их программа. Правда, неуклюжий толстяк Том каждый раз, когда я попадал в поле его визиров, зажигал рубиновый лобовой сигнал, и при желании это можно было принимать за приветствие, за вежливо-рассеянный поклон, но я-то знал, что это просто означает: «У меня и у остальных все в порядке. Выполняем задание. Нет ли новых указаний?» У меня не было новых указаний. У меня было много одиночества и много, очень много мертвой тишины.

Это не была ватная тишина акустической лаборатории, от которой закладывает уши, и не та чудная тишина земного загородного вечера, освежающая, ласково омывающая мозг, которая умиротворяет и сливает тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. Это была тишина особенная — пронзительная, прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы, — тишина огромного, совершенно пустого мира.

Я затравленно огляделся. Вообще-то, наверное,

нельзя так говорить о себе; наверное, следовало бы сказать просто: «Я огляделся». Однако на самом деле я огляделся не просто, а именно затравленно. Бесшумно трудились киберы. Бесшумно слепило лиловое солнце. С этим надо было как-то кончать.

Например, можно было собраться наконец и сходить к айсбергу. До айсберга было километров пять, а стандартная инструкция категорически запрещает дежурному удаляться от корабля дальше, чем на сто метров. Наверное, при других обстоятельствах чертовски соблазнительно было бы рискнуть и нарушить инструкцию. Но только не здесь. Здесь я мог уйти и на пять километров, и на сто двадцать пять, и ничего бы не случилось ни со мной, ни с моим кораблем, ни с десятком других кораблей, рассаженных сейчас по всем климатическим поясам планеты к югу от меня. Не выскочит из этих корявых зарослей кровожаждущее чудовище, чтобы пожрать меня, — нет здесь никаких чудовищ. Не налетит с океана свирепый тайфун, чтобы вздыбить корабль и швырнуть на эти угрюмые скалы, — не замечено здесь ни тайфунов, ни прочих землетрясений. Не будет здесь сверхсрочного вызова с базы с объявлением биологической тревоги — не может здесь быть

биологической тревоги, нет здесь ни вирусов, ни бактерий, опасных для многоклеточных существ. Ничего здесь нет, на этой планете, кроме океана, скал и карликовых деревьев. Неинтересно здесь нарушать инструкцию.

И выполнять ее здесь неинтересно. На любой порядочной биологически активной планете фига с два я стоял бы вот так, руки в карманах, на третий день после посадки. Я бы мотался сейчас как угорелый. Наладка, запуск и ежесуточный контроль настройки сторожа-разведчика. Организация вокруг корабля — и вокруг строительной площадки, между прочим, — Зоны Абсолютной Биологической Безопасности. Обеспечение упомянутой ЗАББ от нападения из-под почвы. Каждые два часа контроль и смена фильтров — внешних бортовых, внутренних бортовых и личных. Устройство могильника для захоронения всех отходов, в том числе и использованных фильтров. Каждые четыре часа стерилизация, дегазация и дезактивация управляющих систем кибермеханизмов. Контроль информации роботов медслужбы, запущенных за пределы ЗАББ. Ну и всякие мелочи: метеозонды, сейсмическая разведка, спелеоопасность, тайфуны, обвалы, сели, карстовые сбросы, лесные пожары, вулка-

нические извержения…

Я представил себе, как я, в скафандре, потный, невыспавшийся, злой и уже слегка отупевший, промываю нервные узлы толстяку Тому, а сторож-разведчик мотается у меня над головой и с настойчивостью идиота в двадцатый раз сообщает о появлении вон под той корягой страшной крапчатой лягушки неизвестного ему вида, а в наушниках верещат тревожные сигналы ужасно взволнованных роботов медслужбы, обнаруживших, что такой-то местный вирус дает нестандартную реакцию на пробу Балтерманца и, следовательно, теоретически способен прорвать биоблокаду. Вандерхузе, который, как и подобает врачу и капитану, сидит в корабле, озабоченно ставит меня в известность, что возникла опасность провалиться в трясину, а Комов с ледяным спокойствием сообщает по радио, что двигатель глайдера, насколько он понимает, съеден маленькими насекомыми вроде муравьев и что муравьи эти в настоящий момент пробуют на зуб его скафандр… Уф! Впрочем, на такую планету меня бы, конечно, не взяли. Меня взяли именно на такую планету, для которой инструкции не писаны. За ненадобностью.

Перед люком я задержался, отряхнул с подошв

приставшие песчинки, постоял немного, положив ладонь на теплый дышащий борт корабля, и ткнул пальцем в перепонку. В корабле тоже было тихо, но это все-таки была домашняя тишина, тишина пустой и уютной квартиры. Я сбросил доху и прошел прямо в рубку. У своего пульта я задерживаться не стал — я и так видел, что все хорошо, — а сразу сел за рацию. Радиограммы лежали на столике. Я включил шифратор и стал набирать текст. В первой радиограмме Комов сообщал на базу координаты трех предполагаемых стойбищ, отчитывался за мальков, которые были вчера запущены в озеро, и советовал Китамуре не торопиться с пресмыкающимися. Все это было более или менее понятно, но вот из второй радиограммы, адресованной в Центральный информаторий, я понял только, что Комову позарез нужны данные относительно игрек-фактора для двунормального гуманоида с четырехэтажным индексом, состоящим в общей сложности из девяти цифр и четырнадцати греческих букв. Это была сплошная и непроницаемая высшая ксенопсихология, в которой я, как и всякий нормальный гуманоид индекса ноль, не разбирался абсолютно. И не надо.

Набрав текст, я включил служебный канал и

передал все сообщения в одном импульсе. Потом я зарегистрировал радиограммы, и тут мне пришло в голову, что пора бы и мне послать первый отчет. То есть, собственно, что значит — отчет… «Группа ЭР-2, строительные работы по стандарту 15, выполнение столько-то процентов, дата, подпись». Все. Мне пришлось встать и подойти к своему пульту, чтобы взглянуть на график выполнения, и я сразу понял, почему это меня вдруг потянуло на отчет. Не в отчете здесь было дело, а просто я, наверное, уже достаточно опытный кибертехник и почуял перебой, даже ничего не видя и не слыша: Том опять остановился, совсем как вчера, ни с того ни с сего. Как и вчера, я раздраженно ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова: «В чем дело?» Как и вчера, сигнал задержки сейчас же погас — и вспыхнул рубиновый огонек: «У нас все в порядке, выполняем задание. Нет ли новых указаний?» Я дал ему указание возобновить работу и включил видеоэкран. Джек и Рекс усердно работали, и Том тоже двинулся, но в первые секунды как-то странно, чуть ли не боком, однако тут же выровнялся.

— Э, брат, — сказал я вслух, — видно, ты у меня переутомился и надобно тебя, брат, почистить. — Я заглянул в рабочий дневник Тома.

Профилактику ему надлежало делать сегодня вечером. — Ладно, до вечера мы с тобой как-нибудь дотянем, как ты полагаешь?

Том не возражал. Некоторое время я смотрел, как они работают, а потом выключил видеоэкран: айсберг, туман над болотом, темные скалы… Хотелось без этого обойтись.

Отчет я все-таки послал и тут же связался с ЭР-6. Вадик откликнулся немедленно, словно только того и ждал.

— Ну, что там у вас? — спросили мы друг друга.

— У нас ничего, — ответил я.

— У нас ящерицы передохли, — сообщил Вадик.

— Эх, вы, — сказал я. — Предупреждает же вас Комов, любимый ученик доктора Мбоги: не торопитесь вы с пресмыкающимися.

— А кто с ними торопится? — возразил Вадик. — Если ты хочешь знать мое мнение, они здесь просто не выживут. Жарища же!

— Купаетесь? — спросил я с завистью.

Вадик помолчал.

— Окунаемся, — сказал он с неохотой. — Время от времени.

— Что так?

— Пусто, — сказал Вадик. — Вроде кошмарно

большой ванны… Ты этого не поймешь. Нормальный человек такую невероятную ванну представить себе не может. Я здесь заплыл километров на пять, сначала все было хорошо, а потом вдруг как представил себе, что это же не бассейн — океан! И, кроме меня, нет в нем ни единой живой твари… Нет, старик, ты этого не поймешь. Я чуть не потонул.

— Н-да, — проговорил я. — Значит, у вас тоже…

Мы поболтали еще несколько минут, а потом Вадика вызвала база, и мы торопливо распрощались. Я вызвал ЭР-9. Ганс не откликнулся. Можно было бы, конечно, вызвать ЭР-1, ЭР-3, ЭР-4 и так далее — до ЭР-12, поговорить о том, что, мол, пусто, безжизненно, мол, но какой от этого прок? Если подумать, никакого. Поэтому я выключил рацию и переселился к себе за пульт. Некоторое время я сидел просто так — глядел на рабочие экраны и думал о том, что дело, которое мы делаем, это вдвойне хорошее дело: мы не только спасаем пантиан от неминуемой и поголовной гибели, мы еще и эту планету спасаем — от пустоты, от мертвой тишины, от бессмысленности. Потом мне пришло в голову, что пантиане, наверное, довольно странная раса, если наши ксенопсихологи считают, что эта планета им подходит лучше все-

го. Странный, должно быть, образ жизни у них на Панте. Вот доставят их сюда — сначала, конечно, не всех, а по два, по три представителя от каждого племени, — увидят представители этот промерзший пляж, этот айсберг, пустой ледяной океан, пустое лиловое небо, увидят и скажут: «Прекрасно! Совсем как дома!» Не верится что-то. Правда, к их приезду здесь уже не будет так пусто. В озерах будет рыба, в зарослях — дичь, на отмелях — съедобные ракушки. Может быть, и ящерицы как-нибудь приживутся, а наш айсберг засидят какие-нибудь птички… А потом, надо сказать, в положении пантиан не приходится особенно выбирать. Если бы, например, стало известно, что наше Солнце вот-вот взорвется и слизнет с Земли все живое, я, наверное, тоже не был бы таким уж привередливым. Наверное, сказал бы себе: ничего, проживем как-нибудь. Впрочем, пантиан никто и не спрашивает. Они все равно ничего не понимают, космографии у них еще нет, даже самой примитивной. Так и не узнают они, что переселились на другую планету…

И вдруг я обнаружил, что слышу нечто. Какое-то шуршание, будто ящерица пробежала. Ящерица вспомнилась мне, должно быть, из-за недавнего разговора с Вадиком, на самом-то деле звук был

еле слышный и совершенно неопределенный. Потом в дальнем конце рубки что-то тикнуло — и сейчас же где-то пролилась струйкой вода. На самом пределе слышимости билась и зудела муха, попавшая в паутину, скороговоркой бормотали раздраженные голоса. И снова по коридору пробежала ящерица. Я почувствовал, что у меня свело шею от напряжения, и встал. При этом я задел справочник, лежавший на краю пульта, и он со страшным грохотом обрушился на пол. Я поднял его и со страшным грохотом швырнул обратно на пульт. Я задудел бодрый марш и, печатая шаг, вышел в коридор.

Это все тишина. Тишина и пустота. Вандерхузе каждый вечер объясняет нам это с предельной ясностью. Человек — не природа, он не терпит пустоты. Оказавшись в пустоте, он стремится ее заполнить. Он заполняет ее видениями и воображаемыми звуками, если не в состоянии заполнить ее чем-нибудь реальным. Воображаемых звуков я за эти три дня наслышался предостаточно. Надо полагать, скоро начнутся видения…

Я маршировал по коридору мимо пустых кают, мимо библиотеки, мимо арсенала, а когда проходил мимо медицинского отсека, почувствовал слабый запах — свежий и одновременно

неприятный, вроде нашатырного спирта. Я остановился и принюхался. Знакомый запах. Хотя что это такое — непонятно. Я заглянул в хирургическую. Постоянно включенный и готовый к действию киберхирург — огромный белый спрут, подвешенный к потолку, — холодно глянул на меня зеленоватыми глазищами и с готовностью приподнял манипуляторы. Запах здесь был гуще. Я включил аварийную вентиляцию и замаршировал дальше. Надо же, до чего у меня все чувства обострились. Уж что-что, а обоняние у меня всегда было негодным…

Свой дозорный марш я закончил на кухне. Здесь тоже было полно запахов, но против этих запахов я ничего не имел. Что бы там ни говорили, а на кухне должно пахнуть. На других кораблях что на кухне, что в рубке — одно и то же. У меня этого нет и не будет. У меня свои порядки. Чистота чистотой, а на кухне должно хорошо пахнуть. Вкусно. Возбуждающе. Мне здесь надлежит четырежды в день составлять меню, и это, заметьте, при полном отсутствии аппетита, потому что аппетит и пустота-тишина — вещи, по-видимому, несовместные…

На составление меню мне потребовалось не менее получаса. Это были трудные полчаса, но

я сделал все, что мог. Потом я включил повара, втолковал ему меню и пошел взглянуть, как работают мои ребятишки.

Уже с порога рубки я увидел, что имеет место ЧП. Все три рабочих экрана на моем пульте показывали полный останов. Я подбежал к пульту и включил видеоэкран. Сердце у меня екнуло: строительная площадка была пуста. Такого у меня еще никогда не случалось. Я даже не слыхивал, что такое вообще может случиться. Я помотал головой и бросился к выходу. Киберов кто-то увел… Шальной метеорит… стукнул Тома в крестец… Взбесилась программа… Невозможно, невозможно! Я влетел в кессон и схватил доху. Руки не попадали в рукава, куда-то пропали застежки, и пока я сражался с дохой, как барон Мюнхгаузен со своей взбесившейся шубой, перед глазами моими стояла жуткая картина: кто-то неведомый и невозможный ведет моего Тома, как собачонку, и киберы покорно ползут прямо в туман, в курящуюся топь, погружаются в бурую жижу и исчезают навсегда… Я с размаху пнул ногой в перепонку и выскочил наружу.

У меня все поплыло перед глазами. Киберы были здесь, у корабля. Они толпились у грузового люка, все трое, легонько отталкивая друг друга,

как будто каждый пытался первым попасть в трюм. Это было невозможно, это было неприлично, это было страшно. Они словно стремились поскорее спрятаться в трюме, укрыться от чего-то, спастись… Известно такое явление второй природы — взбесившийся робот, оно бывает очень редко, а о взбесившемся строительном роботе я не слышал никогда. Однако нервы у меня были так взвинчены, что сейчас я был готов к этому. Но ничего не произошло. Заметив меня, Том перестал ерзать и включил сигнал «жду указаний». Я решительно показал ему руками: «Вернуться на место, продолжать выполнение программы». Том послушно включил задний ход, развернулся и покатил обратно на площадку. Джек и Рекс, естественно, последовали за ним. А я все стоял возле люка, в горле у меня пересохло, колени ослабели, и мне очень хотелось присесть.

Но я не присел. Я принялся приводить себя в порядок. Доха на мне была застегнута вкривь и вкось, уши мерзли, на лбу и на щеках быстро застывал пот. Медленно, стараясь контролировать все свои движения, я вытер лицо, застегнулся как следует, надвинул на глаза капюшон и натянул перчатки. Стыдно признаться, конечно, но я испытывал страх. Собственно, это уже был не

сам страх, это были остатки пережитого страха, смешанные со стыдом. Кибертехник, который испугался собственных киберов… Мне стало совершенно ясно, что об этом случае я никогда и никому не расскажу. Елки-палки, у меня же ноги тряслись, они у меня и сейчас какие-то дряблые, и больше всего на свете мне сейчас хочется вернуться в корабль, спокойно, по-деловому обдумать происшествие, разобраться. Справочники кое-какие просмотреть. А на самом деле я, наверное, просто боюсь приближаться к моим ребятишкам…

Я решительно засунул руки в карманы и зашагал к стройплощадке. Ребятишки трудились как ни в чем не бывало. Том, как всегда, предупредительно запросил у меня новые указания. Джек обрабатывал фундамент диспетчерской, как ему и было положено по программе. Рекс зигзагами ходил по готовому участку посадочной полосы и занимался расчисткой. Да, что-то у них не в порядке все-таки с программой. Камней каких-то на полосу накидали… Не было этих камней, да и не нужны они тут, хватает строительного материала и без камней. Да, как Том тогда остановился, так с тех пор весь последний час они тут делали что-то не то. Сучья какие-то валяются на полосе…

Я наклонился, поднял сучок и прошелся взад-вперед, похлопывая себя этим сучком по голенищу. А не остановить ли мне их подобру-поздорову прямо сейчас, не дожидаясь срока профилактики? Неужели же, елки-палки, я где-то напахал в программе? Уму непостижимо… Я бросил сучок в кучу камней, собранных Рексом, повернулся и пошел к кораблю.

Глава вторая
ТИШИНА И ГОЛОСА

Следующие два часа я был очень занят, так занят, что не замечал ни тишины, ни пустоты. Для начала я посовещался с Гансом и Вадиком. Ганса я разбудил, и спросонок он только мычал и мямлил какую-то несусветицу про дождь и низкое давление. Толку от него не получилось никакого. Вадика мне пришлось долгое время убеждать, что я не шучу и не разыгрываю. Это было тем более трудно, что меня все время душил нервный смех. В конце концов я убедил его, что мне не до шуток и что для смеха у меня совсем другие основания. Тогда он тоже сделался серьезным и сообщил, что у него у самого старший кибер время от времени спонтанно останавливается, но в этом как раз нет ничего удивительного: жара, работа идет на пределе технических норм, и система еще не успела аккомодироваться. Может быть, все дело в том, что у меня здесь холод? Может быть, все дело было в этом, я еще не знал. Я, собственно, надеялся выяснить это у Вадика. Тогда Вадик вызвал головастую Нинон с ЭР-8,

мы обсудили эту возможность втроем, ничего не придумали, и головастая Нинон посоветовала мне связаться с главным киберинженером базы, который зубы съел именно на этих строительных системах, чуть ли не их создатель. Ну, это-то я и сам знал, однако мне совсем не улыбалось лезть к главному за консультацией уже на третий день самостоятельной работы, да еще не имея за душой ни одного, буквально ни одного толкового соображения.

В общем, я сел за свой пульт, развернул программу и принялся ее вылизывать — команду за командой, группу за группой, поле за полем. Надо сказать, никаких дефектов я не обнаружил. За эту часть программы, которую составлял я сам, я и раньше готов был отвечать головой, а теперь готов был отвечать и своим добрым именем вдобавок. Со стандартными полями дело обстояло хуже. Многие из них были мне знакомы мало, и если бы я взялся каждое такое стандартное поле контролировать заново, обязательно бы сорвал график работ. Поэтому я решился на компромисс. Я временно выключил из программы все поля, которые пока не были нужны, упростил программу до наивозможнейшего предела, ввел ее в систему управления и положил было палец на

пусковую клавишу, как вдруг до меня дошло, что уже в течение некоторого времени я опять слышу нечто — нечто совсем уже странное, совершенно неуместное и невероятно знакомое.

Плакал ребенок. Где-то далеко, на другом конце корабля, за многими дверями отчаянно плакал, надрываясь и захлебываясь, какой-то ребеночек. Маленький, совсем маленький. Годик, наверное. Я медленно поднял руки и прижал ладони к ушам. Плач прекратился. Не опуская рук, я встал. Точнее сказать, я обнаружил, что уже некоторое время стою на ногах, зажимая уши, что рубашка у меня прилипла к спине и что челюсть у меня отвисла. Я закрыл рот и осторожно отвел ладони от ушей. Плача не было. Стояла обычная проклятая тишина, только звенела в невидимом углу муха, запутавшаяся в паутине. Я достал из кармана платок, неторопливо развернул его и тщательно вытер лоб, щеки и шею. Затем, так же неторопливо сворачивая платок, я прошелся перед пультом. Мыслей у меня не было никаких. Я постучал костяшками пальцев по кожуху вычислителя и кашлянул. Все было в порядке, я слышал. Я шагнул обратно к креслу, и тут ребенок заплакал снова.

Не знаю, сколько времени я стоял столбом и

слушал. Самым страшным было то, что я слышал его совершенно ясно. Я даже отдавал себе отчет в том, что это не бессмысленное мяуканье новорожденного и не обиженный рев карапуза лет четырех-пяти, — вопил и захлебывался младенец, еще не умеющий ходить и разговаривать, но уже не грудной. У меня племянник такой есть — год с небольшим…

Оглушительно грянул звонок радиовызова, и у меня от неожиданности едва не выскочило сердце. Придерживаясь за пульт, я подобрался к рации и включил прием. Ребеночек все плакал.

— Ну, как у тебя дела? — осведомился Вадик.

— Никак, — сказал я.

— Ничего не придумал?

— Ничего, — сказал я. Я поймал себя на том, что прикрываю микрофон рукой.

— Что-то тебя плохо слышно, — сказал Вадик. — Так что же ты думаешь делать?

— Как-нибудь, — пробормотал я, плохо соображая, что говорю. Ребенок продолжал плакать. Теперь он плакал тише, но все так же явственно.

— Ты что это, Стась? — озабоченно сказал Вадик. — Я тебя разбудил, что ли?

Больше всего мне хотелось сказать: «Слушай, Вадька, у меня здесь все время плачет какой-то

ребенок. Что мне делать?» Однако у меня хватило ума сообразить, как это может быть воспринято. Поэтому я откашлялся и сказал:

— Ты знаешь, я с тобой через часок свяжусь. Здесь у меня кое-что наклевывается, но я еще не вполне уверен…

— Ла-а-адно, — озадаченно протянул Вадик и отключился.

Я еще немного постоял у рации, затем вернулся к своему пульту. Ребенок несколько раз всхлипнул и затих. А Том опять стоял. Опять этот испорченный сундук остановился. И Джек с Рексом тоже стояли. Я изо всех сил ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. Никакого эффекта. Мне захотелось заплакать самому, но тут я сообразил, что система выключена. Я же ее и выключил два часа назад, когда взялся за программу. Ну и работничек из меня теперь! Может быть, сообщить на базу и попросить приготовить замену? Обидно-то как, елки-палки… Я поймал себя на том, что в страшном напряжении жду, когда все это начнется снова. И я понял, что если останусь здесь, в рубке, то буду прислушиваться и прислушиваться, ничего не смогу делать, только прислушиваться, и я, конечно, услышу, я здесь такое услышу!..

Я решительно включил профилактику, вытащил из стеллажа футляр с инструментами и почти бегом ринулся вон из рубки. Я старался держать себя в руках и с дохой управился на этот раз довольно быстро. Ледяной воздух, опаливший лицо, подтянул меня еще больше. Хрустя каблуками по песку, я, не оглядываясь, зашагал к строительной площадке, прямо к Тому. По сторонам я тоже не глядел. Айсберги, туманы, океаны — все это меня отныне не интересовало. Я берег цветы своей селезенки для своих непосредственных обязанностей. Не так уж много у меня этих цветов оставалось, а обязанностей было столько же, сколько раньше, и, может быть, даже больше.

Прежде всего я проверил Тому рефлексы. Рефлексы у Тома оказались в превосходном состоянии. «Отлично!» — сказал я вслух, извлек из футляра скальпель и одним движением, как на экзаменах, вскрыл Тому заднюю черепную коробку.

Я работал с упоением, даже с остервенением каким-то, быстро, точно, расчетливо, как машина. Одно могу сказать: никогда в жизни я так не работал. Мерзли пальцы, мерзло лицо, дышать приходилось не как попало, а с умом, чтобы

иней не оседал на операционном поле, но я и думать не хотел о том, чтобы загнать киберов в корабельную мастерскую. Мне становилось все легче и легче, ничего неподобающего я больше не слышал, я уже забыл о том, что могу услышать неподобающее, и дважды сбегал в корабль за сменными узлами для координационной системы Тома. «Ты у меня будешь как новенький, — приговаривал я. — Ты у меня больше не будешь бегать от работы. Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу. Хочешь, небось, выйти в люди? Еще бы! В людях хорошо, в людях тебя любить будут, холить будут, лелеять. Но ведь что я тебе скажу? Куда тебе в люди с таким блоком аксиоматики? С таким блоком аксиоматики тебя не то что в люди — в цирк тебя не возьмут. Ты с таким блоком аксиоматики все подвергнешь сомнению, задумываться станешь, научишься в носу ковырять глубокомысленно. Стоит ли, мол? Да зачем все это нужно? Для чего все эти посадочные полосы, фундаменты? А сейчас я тебя, голубчик...»

— Шура... — простонал совсем рядом хриплый женский голос. — Где ты, Шура... Больно...

Я замер. Я лежал в брюхе Тома, стиснутый со всех сторон колоссальными буграми его рабочих

мышц, только ноги мои торчали наружу, и мне вдруг стало невероятно страшно, как в самом страшном сне. Я просто не знаю, как я сдержался, чтобы не заорать и не забиться в истерике. Может быть, я потерял сознание на некоторое время, потому что долго ничего не слышал и ничего не соображал, а только пялил глаза на озаренную зеленоватым светом поверхность обнаженного нервного вала у себя перед лицом.

— Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура… — хрипела женщина, корчась от невыносимой боли. — Здесь кто-то есть… Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу…

Она хрипела и плакала, и повторяла снова и снова одно и то же, и мне уже мерещилось, что я вижу ее искаженное лицо, залитое смертным потом, и в хрипе ее была уже не только мольба, не только боль, в нем были ярость, требование, приказ. Я почти физически ощутил, как ледяные цепкие пальцы тянутся к моему мозгу, чтобы вцепиться, стиснуть его и погасить. Уже в полубеспамятстве, сжимая до судороги зубы, я нащупал левой рукой пневматический клапан и изо всех сил надавил на него. С диким воющим ревом ринулся наружу сжатый аргон, а я все на-

жимал и нажимал на клапан, сметая, разбивая в пыль, уничтожая хриплый голос у себя в мозгу, я чувствовал, что глохну, и чувство это доставляло мне невыразимое облегчение.

Потом оказалось, что я стою рядом с Томом, холод прожигает меня до костей, а я дую на окоченевшие пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь: «Звуковая завеса, понятно? Звуковая завеса…» Том стоял, сильно накренившись на правый бок, а мир вокруг меня был скрыт огромным неподвижным облаком инея и мерзлых песчинок. Зябко пряча ладони под мышками, я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на краю площадки огромную яму. Я немного постоял над этой ямой, все еще повторяя про звуковую завесу, но я уже чувствовал, что пора бы прекратить повторять, и догадался, что стою на морозе без дохи, и вспомнил, что доху я сбросил как раз на то место, где сейчас яма, и стал вспоминать, не было ли у меня в карманах чего-нибудь существенного, ничего не вспомнил, легкомысленно махнул рукой и нетвердой трусцой побежал к кораблю.

В кессоне я прежде всего взял себе новую доху, потом пошел в свою каюту, кашлянул у входа, как бы предупреждая, что сейчас войду, вошел и сейчас же лег на койку лицом к стене, накрывшись

дохой с головой. При этом я прекрасно понимал, что все эти мои действия лишены какого бы то ни было смысла, что в каюту к себе я направлялся с вполне определенной целью, но цель эту я запамятовал, а лег и укрылся, словно бы для того, чтобы показать кому-то: вот это именно и есть то, зачем я сюда пришел.

Все-таки, наверное, это было что-то вроде истерики, и, немного придя в себя, я только порадовался, что истерика моя приняла вот такие, совершенно безобидные формы. В общем, мне было ясно, что с моей работой здесь покончено. И вообще в космосе работать мне, вероятно, больше не придется. Это было, конечно, безумно обидно, и — чего там говорить! — стыдно было, что вот не выдержал, на первом же практическом деле сорвался, а уж, казалось бы, послали для начала в самое что ни на есть безопасное и спокойное место. И еще было обидно, что оказался я такой нервной развалиной, и стыдно, что когда-то испытывал самодовольную жалость к Каспару Манукяну, когда тот не прошел по конкурсу проекта «Ковчег» из-за какой-то там повышенной нервной возбудимости. Будущее представлялось мне в самом черном свете — тихие санатории, медосмотры, процедуры, осторожные вопросы

психологов и целые моря сочувствия и жалости, сокрушительные шквалы сочувствия и жалости, обрушивающиеся на человека со всех сторон…

Я рывком отшвырнул доху и сел. Ладно, сказал я тишине и пустоте, ваша взяла. Горбовского из меня не вышло. Переживем как-нибудь… Значит, так. Сегодня же я расскажу обо всем Вандерхузе, и завтра, наверное, пришлют мне замену. Елки-палки, а у меня на площадке что творится! Том демобилизован, график сломался, ямища эта дурацкая рядом с полосой… Я вдруг вспомнил, зачем сюда пришел, выдвинул ящик стола, нашел кристаллофон с записью ируканских боевых маршей и аккуратно подвесил его к мочке правого уха. Звуковая завеса, сказал я себе в последний раз. Взявши доху под мышку, я снова вышел в кессон, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы совершенно уже успокоиться, включил кристалл и шагнул наружу.

Теперь мне было хорошо. Вокруг меня и внутри меня ревели варварские трубы, лязгала бронза, долбили барабаны; покрытые оранжевой пылью телемские легионы, тяжело печатая шаг, шли через древний город Сэтэм; пылали башни, рушились кровли, и страшно, угнетая рассудок врага, свистели боевые драконы-стенобитчики.

Окруженный и огражденный этими шумами тысячелетней давности, я снова забрался во внутренности Тома и теперь без всякой помехи довел профилактику до конца.

Джек и Рекс уже заравнивали яму, а в потроха Тома нагнетались последние литры аргона, когда я увидел над пляжем стремительно растущее черное пятнышко. Глайдер возвращался. Я взглянул на часы — было без двух минут восемнадцать по местному времени. Я выдержал. Теперь можно было выключить литавры и барабаны и заново обдумать вопрос: стоит ли беспокоить Вандерхузе, беспокоить базу, ведь сменщика найти будет не так-то просто, да и ЧП все-таки, работа на всей планете может из-за этого задержаться, набегут всякие комиссии, начнутся контрольные проверки и перепроверки, дело остановится, Вадик будет ходить злой как черт, а если вдобавок представить себе, как глянет на меня доктор ксенопсихологии, член КОМКОНа, специальный уполномоченный по проекту «Ковчег» Геннадий Комов, восходящее светило науки, любимый ученик доктора Мбоги, новый соперник и новый соратник самого Горбовского… Нет, все это надо тщательно продумать. Я глядел на приближающийся глайдер и думал: все это надо продумать

самым тщательнейшим образом. Во-первых, у меня еще целый вечер впереди, а во-вторых, у меня есть предчувствие, что все это мы временно отложим. В конце концов, переживания мои касаются меня одного, а отставка моя касается уже не только меня, но и, можно сказать, всех. Да и звуковая завеса себя превосходно показала. Так что, пожалуй, все-таки отложим. Да. Отложим…

Все эти мысли разом вылетели у меня из головы, едва я увидел лица Майки и Вандерхузе. Комов — тот выглядел как обычно и, как обычно, озирался с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему персонально, принадлежит давно и уже порядком надоело. А вот Майка была бледна прямо-таки до синевы, как будто ей было дурно. Уже Комов соскочил на песок и коротко осведомился у меня, почему я не откликался на радиовызовы (тут глаза его скользнули по кристаллофону на моем ухе, он пренебрежительно усмехнулся и, не дожидаясь ответа, прошел в корабль). Уже Вандерхузе неторопливо вылез из глайдера и подходил ко мне, почему-то грустно кивая, более чем когда-либо похожий на занемогшего пожилого верблюда. А Майка все неподвижно сидела на своем месте, нахохлившись, спрятав подбородок в меховой воротник, и

глаза у нее были какие-то стеклянные, а рыжие веснушки казались черными.

— Что случилось? — испуганно спросил я.

Вандерхузе остановился передо мной. Голова его задралась, нижняя челюсть выдвинулась. Он взял меня за плечо и легонько потряс. Сердце у меня ушло в пятки, я не знал, что и подумать. Он снова тряхнул меня за плечо и сказал:

— Очень грустная находка, Стась. Мы нашли погибший корабль.

Я судорожно глотнул и спросил:

— Наш?

— Да. Наш.

Майка выползла из глайдера, вяло махнула мне рукой и направилась к кораблю.

— Много жертв? — спросил я.

— Двое, — ответил Вандерхузе.

— Кто? — с трудом спросил я.

— Пока не знаем. Это старый корабль. Авария произошла много лет назад.

Он взял меня под руку, и мы вместе пошли следом за Майкой. У меня немного отлегло от сердца. Поначалу я, естественно, решил, что разбился кто-нибудь из нашей экспедиции. Но все равно…

— Никогда мне эта планета не нравилась, — вырвалось у меня.

Мы вошли в кессон, разделись, и Вандерхузе принялся обстоятельно очищать свою доху от приставших репьев и колючек. Я не стал его дожидаться и пошел к Майке. Майка лежала на койке, подобрав ноги, повернувшись лицом к стене. Эта поза мне сразу кое-что напомнила, и я сказал себе: а ну-ка, поспокойнее, без всяких этих соплей и сопереживаний. Я сел за стол, побарабанил пальцами и осведомился самым деловым тоном:

— Слушай, корабль действительно старый? Вандер говорит, что он разбился много лет назад. Это так?

— Так, — не сразу ответила Майка в стену.

Я покосился на нее. Острые кошачьи когти прочертили по моей душе, но я продолжал все так же деловито:

— Сколько это — много лет? Десять? Двадцать? Чепуха какая-то получается. Планета-то открыта всего два года назад…

Майка не ответила. Я снова побарабанил пальцами и сказал тоном ниже, но все еще по-деловому:

— Хотя, конечно, это могли быть первопроходцы… Какие-нибудь вольные исследователи… Двое их там, как я понял?

Тут она вдруг взметнулась над койкой и села лицом ко мне, упершись ладонями в покрывало.

— Двое! — крикнула она. — Да! Двое! Коряга ты бесчувственная! Дубина!

— Подожди, — сказал я ошеломленно. — Что ты…

— Ты зачем сюда пришел? — продолжала она почти шепотом. — Ты к роботам своим иди, с ними вот обсуждай, сколько там лет прошло, какая чепуха получается, почему их там двое, а не трое, не семеро…

— Да подожди, Майка! — сказал я с отчаянием. — Я же совсем не то хотел…

Она закрыла лицо руками и невнятно проговорила:

— У них все кости переломаны… Но они еще жили… Пытались что-то делать… Слушай, — попросила она, отняв руки от лица, — уйди, пожалуйста. Я скоро выйду. Скоро.

Я осторожно поднялся и вышел. Мне хотелось ее обнять, сказать что-то ласковое, утешительное, но утешать я не умел. В коридоре меня вдруг затрясло. Я остановился и подождал, пока это пройдет. Ну и денек выдался! И ведь никому не расскажешь. Да и не надо, наверное. Я разжмурил глаза и увидел, что в дверях рубки стоит Ван-

дерхузе и смотрит на меня.

— Как там Майка? — спросил он негромко.

Наверное, по моему лицу было видно — как, потому что он грустно кивнул и скрылся в рубке. А я поплелся на кухню. Просто по привычке. Просто так уж повелось, что сразу после возвращения глайдера все мы садились обедать. Но сегодня, видно, все будет по-другому. Какой тут может быть обед… Я накричал на повара, потому что мне показалось, будто он переврал меню. На самом деле он ничего не переврал, обед был готов, хороший обед, как обычно, но сегодня должно быть не как обычно. Майка, наверное, вообще ничего не станет есть, а надо, чтобы поела. И я заказал для нее повару фруктовое желе со сбитыми сливками — единственное ее любимое лакомство, которое я знал. Для Комова я решил ничего дополнительно не заказывать, для Вандерхузе, подумавши, — тоже, но на всякий случай ввел в общую часть меню несколько стаканов вина — вдруг кто-нибудь захочет подкрепить свои душевные силы… Потом я отправился в рубку и уселся за свой пульт.

Ребятишки мои работали как часы, Майки в рубке не было, а Вандерхузе с Комовым составляли экстренную радиограмму на базу. Они

спорили.

— Это не информация, Яков, — говорил Комов. — Вы же лучше меня знаете: существует определенная форма — состояние корабля, состояние останков, предполагаемые причины крушения, находки особого значения… Ну и так далее.

— Да, конечно, — отвечал Вандерхузе. — Но согласитесь, Геннадий, вся эта проформа имеет смысл только для биологически активных планет. В данной конкретной ситуации…

— Тогда лучше вообще не посылать ничего. Тогда давайте сядем в глайдер, слетаем туда сейчас же и сегодня же составим полный акт…

Вандерхузе покачал головой.

— Нет, Геннадий, я категорически против. Комиссии такого рода должны состоять из трех человек как минимум. А потом, сейчас уже стемнело, у нас не будет возможности произвести детальный осмотр окружающей местности… И вообще такие вещи надо делать на свежую голову, а не после полного рабочего дня. Как вы полагаете, Геннадий?

Комов, сжав тонкие губы, легонько постучал кулаком по столу.

— Ах, как это некстати, — произнес он с до-

садой.

— Такие вещи всегда некстати, — утешил его Вандерхузе. — Ничего, завтра утром мы отправимся туда втроем…

— Может быть, тогда сегодня вообще ничего не сообщать? — перебил его Комов.

— А вот на это я не имею права, — сказал с сожалением Вандерхузе. — Да и зачем нам это — не сообщать?

Комов встал и, заложив руки за спину, посмотрел на Вандерхузе сверху вниз.

— Как вы не понимаете, Яков, — уже с откровенным раздражением произнес он. — Корабль старого типа, неизвестный корабль, бортжурнал почему-то стерт… Если мы пошлем донесение в таком виде, — он схватил со стола листок и помахал им перед лицом Вандерхузе, — Сидоров решит, что мы не хотим или не способны самостоятельно провести экспертизу. Для него это еще одна забота — создавать комиссию, искать людей, отбиваться от любопытствующих бездельников… Мы поставим себя в смешное и глупое положение. И потом, во что превратится наша работа, Яков, если сюда явится толпа любопытствующих бездельников?

— Гм, — сказал Вандерхузе. — То есть, иначе

говоря, вы не хотите скопления посторонних на нашем участке. Так?

— Именно так, — произнес Комов твердо.

Вандерхузе пожал плечами.

— Ну что ж… — Он подумал немного, отобрал у Комова листок и приписал к тексту несколько слов. — А в таком вот виде пойдет? «ЭР-два базе, — скороговоркой прочитал он. — Экстренная. В квадрате сто два обнаружен потерпевший крушение земной корабль типа «Пеликан», регистрационный номер такой-то, в корабле останки двух человек, предположительно мужчины и женщины, бортжурнал стерт, подробную экспертизу… — тут Вандерхузе повысил голос и значительно поднял палец, — начинаем завтра». Как вы полагаете, Геннадий?

Несколько секунд Комов в задумчивости покачивался с носка на пятку.

— Ну что ж, — проговорил он наконец, — пусть будет так. Что угодно, лишь бы нам не мешали. Пусть будет так.

Он вдруг сорвался с места и вышел из рубки. Вандерхузе повернулся ко мне.

— Передай, Стась, пожалуйста. И пора уже обедать, как ты полагаешь? — Он поднялся и задумчиво произнес одну из своих загадочных

фраз: — Было бы алиби, а трупы найдутся.

Я зашифровал радиограмму и послал ее в экстренном импульсе. Мне было как-то не по себе. Что-то совсем недавно, буквально минуту назад, вонзилось в подсознание и мешало там, как заноза. Я посидел перед рацией, прислушиваясь. Да, это совсем другое дело — прислушиваться, когда знаешь, что в корабле полно народа. Вот по кольцевому коридору быстро прошагал Комов. У него всегда такая походка, словно он куда-то спешит, но вместе с тем знает, что мог бы и не спешить, потому что без него ничего не начнется. А вот гудит что-то неразборчивое Вандерхузе. Майка отвечает ему, и голос у нее обыкновенный — высокий и независимый, видимо, она уже успокоилась или, по крайней мере, сдерживается. И нет ни тишины, ни пустоты, ни мух в паутине… И я вдруг понял, что это за заноза: голос умирающей женщины в моем бреду и умершая женщина в разбитом звездолете… Совпадение, конечно… Страшненькое совпадение, что и говорить.

Глава третья
ГОЛОСА И ПРИЗРАКИ

Сколь это ни удивительно, но спал я как убитый. Утром я, по обыкновению, поднялся на полчаса раньше остальных, сбегал на кухню посмотреть, как там с завтраком, сбегал в рубку посмотреть, как там мои ребятишки, а потом выскочил наружу делать зарядку. Солнце еще не поднялось над горами, но было уже совсем светло и очень холодно. Ноздри слипались, ресницы смерзались, я изо всех сил размахивал руками, приседал и вообще спешил поскорее отделаться и вернуться на корабль. И тут я заметил Комова. Сегодня он, как видно, встал даже раньше меня, сходил куда-то и теперь возвращался со стороны стройплощадки. Шел он, против обыкновения, неторопливо, словно бы задумавшись, и в рассеянности похлопывал себя по ноге какой-то веточкой. Я уже заканчивал зарядку, когда он подошел ко мне вплотную и поздоровался. Я, естественно, тоже поздоровался и вознамерился было нырнуть в люк, но он остановил меня вопросом:

— Скажите, Попов, когда вы остаетесь здесь

один, вы отлучаетесь куда-нибудь от корабля?

— То есть? — Я удивился даже не столько его вопросу, сколько самому факту, что Геннадий Комов снизошел заинтересоваться моим времяпрепровождением. У меня к Геннадию Комову отношение сложное. Я его недолюбливаю.

— То есть ходите вы куда-нибудь? К болоту, например, или к сопкам…

Ненавижу эту манеру, когда с человеком разговаривают, а сами смотрят куда угодно, только не на человека. Причем сами в теплой дохе с капюшоном, а человек в спортивном костюмчике на голое тело. Но при всем при том Геннадий Комов есть Геннадий Комов, и я, обхватив руками плечи и приплясывая на месте, ответил:

— Нет. У меня и так времени не хватает. Не до прогулок.

Тут он наконец соизволил заметить, что я замерзаю, и вежливо указал мне веточкой на люк, сказав: «Прошу вас. Холодно». Но в кессоне он меня остановил снова.

— А роботы от стройплощадки удаляются?

— Роботы? — Никак я не мог понять, куда он клонит. — Нет. Зачем?

— Ну, я не знаю… Например, за строительными материалами.

Он аккуратно прислонил свою веточку к стене и стал расстегивать доху. Я начал злиться. Если он каким-нибудь образом пронюхал о неполадках в моей строительной системе, то, во-первых, это не его дело, а во-вторых, мог бы сказать об этом прямо. Что это за допрос, в самом деле…

— Строительным материалом для киберсистемы данного типа, — как можно суше сказал я, — является тот материал, который у киберсистемы под ногами. В данном случае — песок.

— И камни, — добавил он небрежно, вешая доху на крючок.

Этим он меня уел. Но это было решительно не его дело, и я с вызовом откликнулся:

— Да! Если попадутся, то и камни.

Он впервые посмотрел мне в глаза.

— Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Попов, — с неожиданной мягкостью произнес он. — Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу. Просто у меня возникли кое-какие недоумения, и я обратился к вам, поскольку вы — единственный человек, который может их разрешить.

Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-хорошему.

— В общем-то, конечно, камни им ни к чему, — сказал я. — Вчера у меня система немножко

барахлила, и машины разбросали эти камни по всей стройплощадке. Кто их знает, зачем это им понадобилось. Потом, конечно, убрали.

Он кивнул.

— Да, я заметил. А какого рода была неполадка?

Я в двух словах рассказал ему о вчерашнем дне, не касаясь, конечно, интимных подробностей. Он слушал, кивал, а потом подхватил свою веточку, поблагодарил за разъяснения и удалился. И только в кают-компании, поедая гречневую кашу с холодным молоком, я сообразил, что мне так и осталось непонятным, какие такие недоумения одолевали любимца доктора Мбоги и насколько мне удалось их разрешить. И удалось ли вообще. Я перестал есть и посмотрел на Комова. Нет, видимо, не удалось.

Геннадий Комов вообще, как правило, имеет вид человека не от мира сего. Вечно он высматривает что-то за далекими горизонтами и думает о чем-то своем, дьявольски возвышенном. На землю он спускается в тех случаях, когда кто-то или что-то, случайно или с умыслом, становится препятствием для его изысканий. Тогда он недрогнувшей рукой, зачастую совершенно беспощадно, устраняет препятствие и вновь

взмывает к себе на Олимп. Так, во всяком случае, о нем рассказывают, и, в общем-то, ничего такого-эдакого тут нет. Когда человек занимается проблемой инопланетных психологий, причем занимается успешно, дерется на самом переднем крае и себя совершенно не жалеет, когда при этом он, как говорят, является одним из выдающихся «футурмастеров» планеты, тогда ему можно многое простить и относиться к его манерам с определенным снисхождением. В конце концов, не всем быть такими обаятельными, как Горбовский или доктор Мбога.

С другой стороны, последние дни я все чаще и чаще с удивлением и горечью вспоминал восторженные рассказы Татьяны, которая проработала с Комовым целый год, была, по-моему, в него влюблена и отзывалась о нем как о человеке редкостной общительности, тончайшего остроумия и все такое прочее. Она прямо так и называла его: душа общества. Что это за общество, у которого такая душа, я представить себе не могу.

Да, так вот, Геннадий Комов всегда производил на меня впечатление человека не от мира сего. Но сегодня за завтраком он превзошел самого себя. Еду свою он обильно посыпал солью. Посыплет, попробует и рассеянно спровадит тарелку в

мусоропровод. Горчицу путал с маслом. Намажет сладкий гренок, попробует и рассеянно спровадит вслед за тарелкой. Якову Вандерхузе на вопросы не отвечал, зато, как пиявка, привязался к Майке, добиваясь, все ли время они с Вандером на съемке ходят вдвоем или иногда расстаются. И еще он время от времени вдруг принимался озираться нервно, а один раз вдруг вскочил, выбежал в коридор, отсутствовал несколько минут и вернулся как ни в чем не бывало — опять мазать гренки горчицей, пока эту злосчастную горчицу не убрали от него вовсе.

Майка тоже нервничала. Отвечала отрывисто, глядела в тарелку и за весь завтрак ни разу не улыбнулась. Впрочем, что делается с ней — я как раз понимал. Я бы на ее месте тоже нервничал перед таким предприятием. В конце концов, Майка — моя ровесница, хотя опыт работы у нее значительно больше, но это совсем не тот опыт, который сегодня ей понадобится.

Одним словом, Комов явно нервничал, Майка нервничала, Вандерхузе тоже, глядя на них, стал обнаруживать некоторые признаки беспокойства, и мне стало ясно, что поднимать сейчас вопрос о моем участии в предстоящей экспертизе решительно неуместно. Я понял, что сегодня мне

опять предстоит целый рабочий день тишины и пустоты, и тоже стал нервничать. Атмосфера за столом сделалась прямо-таки напряженной. И тогда Вандерхузе как командир корабля и врач решил эту атмосферу разрядить. Он задрал голову, выдвинул челюсть и длинно посмотрел на нас поверх носа. Рысьи бакенбарды его растопырились. Для начала он рассказал несколько анекдотов из быта звездолетчиков. Анекдоты были старые, заезженные, я заставлял себя улыбаться, Майка никак не реагировала, а Комов реагировал как-то странно. Слушал он внимательно и серьезно, в ударных местах кивал, а потом задумчиво оглядел Вандерхузе и произнес внушительно:

— А знаете, Яков, к вашим бакенбардам очень пошли бы кисточки на ушах.

Это было хорошо сказано, и при других обстоятельствах я порадовался бы острому словцу, но сейчас мне это показалось совершенно бестактным. Впрочем, сам Вандерхузе был, очевидно, противоположного мнения. Он самодовольно ухмыльнулся, согнутым пальцем взбил свои бакенбарды — сначала левый, а затем правый — и поведал нам следующую историю.

Является на некую цивилизованную планету один землянин, входит он в контакт и предлагает

аборигенам свои услуги в качестве крупнейшего на Земле специалиста по конструированию и эксплуатации вечных двигателей первого рода. Аборигены, натурально, смотрят этому посланцу сверхразума в рот и, следуя его указаниям, немедленно принимаются строить. Построили. Не работает вечный двигатель. Землянин крутит колеса, ползает среди стержней и всяких шестеренок и бранится, что все сделано не так. «Технология, — говорит, — у вас отсталая, вот эти узлы надо решительно переделать, а вон те так и вообще заменить, как вы полагаете?» Аборигенам деваться некуда. Принимаются они переделывать и решительно заменять. И только они это закончили, как вдруг прибывает с Земли ракета «скорой помощи», санитары хватают изобретателя и делают ему надлежащий укол, врач приносит аборигенам свои извинения, и ракета отбывает. Аборигены в тоске и смущении, стыдясь глядеть друг другу в глаза, начинают расходиться и тут замечают, что двигатель-то заработал. Да, друзья мои, двигатель заработал и продолжает работать до сих пор, вот уже полтораста лет.

Мне эта незамысловатая история понравилась. Сразу видно, что Вандерхузе выдумал ее сам и,

скорее всего, только что. К моему огромному удивлению, Комову история понравилась тоже. Уже на середине рассказа он перестал блуждать взглядом по столу в поисках горчицы, уставился на Вандерхузе и не спускал с него прищуренных глаз до самого конца, а потом высказался в том смысле, что идея невменяемости одного из партнеров по контакту представляется ему теоретически любопытной. «Во всяком случае, до сих пор общая теория контакта не учитывала такой возможности, хотя еще в начале двадцать первого века некий Штраух выдвигал предложение включать шизоидов в состав экипажей космических кораблей. Уже тогда было известно, что шизоидные типы обладают ярко выраженной способностью непредвзятого ассоциирования. Там, где нормальный человек в хаосе невиданного волей-неволей стремится углядеть знакомое, известное ранее, стереотипное, шизоид, напротив, не только видит все так, как оно есть, но способен создавать новые стереотипы, прямо вытекающие из сокровенной природы рассматриваемого хаоса. Между прочим, — продолжал Комов, понемножку разгораясь, — это свойство оказывается чрезвычайно общим для шизоидных представителей разумов самых различных

типов. А поскольку теоретически совершенно не исключена возможность, что объектом контакта окажется именно шизоидный индивидуум, и поскольку своевременно не разгаданная шизоидность может в ходе контакта привести к тяжелейшим последствиям, проблема, затронутая вами, Яков, кажется достойной определенного научного внимания».

Вандерхузе, ухмыляясь, объявил, что дарит Комову эту идею, и сказал, что пора трогаться. При этих словах Майка, заинтересовавшаяся было и слушавшая Комова с полуоткрытым ртом, сразу увяла. Я тоже сразу увял: все эти разговоры о шизоидах навели меня на неприятные размышления. И вот что тогда произошло.

Вандерхузе и Майка уже вышли из кают-компании, а Комов замешкался в дверях, повернулся вдруг, крепко взял меня за локоть и, как-то жутковато-пристально шаря по моему лицу своими холодными серыми глазами, тихо и быстро проговорил:

— Что это вы приуныли, Стась? Что-нибудь случилось?

Я обалдел. Меня наповал сразила поистине сверхъестественная проницательность этого специалиста по шизоидам. Но мне все-таки удалось

мгновенно взять себя в руки. Слишком многое для меня решалось в этот момент. Я отстранился и с безмерным изумлением спросил:

— О чем вы, Геннадий Юрьевич?

Взгляд его продолжал бегать по моему лицу, и он спросил еще тише и еще быстрее:

— Вы боитесь остаться один?

Но я уже прочно сидел в седле.

— Боюсь? — переспросил я. — Ну, это слишком сильно сказано, Геннадий Юрьевич. Я не ребенок все-таки…

Он отпустил мой локоть.

— А может быть, полетите с нами?

Я пожал плечами.

— Я бы с удовольствием. Но ведь вчера у меня были неполадки. Пожалуй, мне все-таки лучше остаться.

— Ну-ну! — произнес он с неопределенным выражением, резко повернулся и вышел.

Я постоял еще в кают-компании, окончательно приводя себя в порядок. В голове у меня была сумятица, но чувствовал я себя как после хорошо сданного экзамена.

Они помахали мне на прощанье и улетели, а я даже не стал провожать их взглядом. Я сразу же вернулся в корабль, выбрал стереопару кристал-

лофонов, вооружил оба уха и завалился в кресло перед своим пультом. Я следил за работой своих ребятишек, читал, принимал радиограммы, беседовал с Вадиком и Нинон (было утешительно обнаружить, что у Вадика тоже вовсю играет музыка), я затеял уборку помещения, я составил роскошное меню с расчетом на необходимость подкрепления душевных сил — и все это в громе, в звоне, в завывании флейт и в мяуканье нэкофонов. В общем, я старательно, безжалостно и с пользой для себя и окружающих убивал время. И все это убиваемое время меня неотступно грызла терзающая мысль: откуда Комов узнал о моей слабости и что он в связи с этим намерен предпринять. Комов ставил меня в тупик. Эти его недоумения, возникшие после похода на стройплощадку, этот разговор о шизоидах, эта странная интерлюдия в дверях кают-компании… Елки-палки, ведь он предложил мне лететь с ними, он явно опасался оставить меня одного! Неужели это все-таки так заметно? Но ведь Вандерхузе вот ничего не заметил…

В таких примерно подспудных мыслях прошла большая часть моего рабочего дня. В пятнадцать часов, гораздо раньше, чем я ожидал, глайдер вернулся. Я едва успел сорвать с ушей и спрятать

кристаллофоны, как вся компания ввалилась в корабль. Я встретил их в кессоне с тщательно продуманной сдержанной приветливостью, не стал задавать никаких вопросов по существу и только осведомился, нет ли желающих подкрепиться. Боюсь, правда, что после шестичасового грома и звона я говорил немножко слишком громко, так что Майка, которая, к вящей моей радости, выглядела вполне удовлетворительно, воззрилась на меня с некоторым удивлением, а Комов быстро оглядел меня с ног до головы и, не сказав ни слова, сейчас же скрылся в своей каюте.

— Подкрепиться? — раздумчиво проговорил Вандерхузе. — Знаешь ли, Стась, я сейчас пойду в рубку писать экспертное заключение, так что если бы ты как-нибудь мимоходом занес мне стаканчик тонизирующего, это было бы уместно, как ты полагаешь?

Я сказал, что принесу, Вандерхузе удалился в рубку, а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где я нацедил два стаканчика тонизирующего — один отдал Майке, а второй отнес Вандерхузе. Когда я вернулся, Майка со стаканчиком в руке бродила по кают-компании. Да, она была значительно спокойнее, чем утром, но все равно чувствовалась в ней какая-то напряженность,

натянутость какая-то, и, чтобы помочь ей разрядиться, я спросил:

— Ну, что там с кораблем?

Майка сделала хороший глоток, облизала губы и, глядя куда-то мимо меня, произнесла:

— Знаешь, Стась, все это неспроста.

Я подождал продолжения, но она молчала.

— Что — неспроста? — спросил я.

— Все! — Она неопределенно повела рукой со стаканом. — Кастрированный мир. Бледная немочь. Помяни мое слово: и корабль этот здесь разбился не случайно, и нашли мы его не случайно, и вообще вся эта наша затея, весь проект — все провалится на этой планетке! — Она допила вино и поставила стакан на стол. — Элементарные правила безопасности не соблюдаются, большинство работников здесь — мальки вроде тебя, да и меня тоже… И все только потому, что планета биологически пассивна. Да разве в этом дело! Ведь любой человек с элементарным чутьем в первый же час чует здесь неладное. Была здесь жизнь когда-то, а потом вспыхнула звезда — и в один миг все кончилось… Биологически пассивная? Да! Но зато активная некротически. Вот и Панта будет такой через сколько-то там лет. Корявые деревца, чахлая травка, и все вокруг пропитано древними

смертями. Запах смерти, понимаешь? Даже хуже того — запах бывшей жизни! Нет, Стась, помяни мое слово, не приживутся здесь пантиане, не узнают они здесь никакой радости. Новый дом для целого человечества? Нет, не новый дом, а старый замок с привидениями…

Я вздрогнул. Она заметила это, но поняла неправильно.

— Ты не беспокойся, — сказала она, печально улыбаясь. — Я в полном порядке. Просто пытаюсь выразить свои ощущения и свои предчувствия. Ты меня, я вижу, понять не можешь, но сам посуди, что это за предчувствия, если мне на язык лезут все эти словечки: некротический, привидения…

Она опять прошлась по кают-компании, остановилась передо мной и продолжала:

— Конечно, с другой стороны, параметры у планеты прекрасные, редкостные. Биологическая активность почти нулевая, атмосфера, гидросфера, климат, термический баланс — все как по заказу для проекта «Ковчег». Но даю тебе голову на отсечение, никто из организаторов этой затеи здесь не был, а если и был кто-нибудь, то чутья у него, нюха на жизнь, что ли, ни на грош не оказалось… Ну понятно, это все старые волки,

все в шрамах, все прошли через разнообразные ады… Чутье на материальную опасность у них великолепное! Но вот на *это* … — Она пощелкала пальцами и даже, бедняжка, сморщилась от бессилия выразить. — А впрочем, откуда я знаю, может быть, кто-нибудь из них и почуял неладное, а как это объяснишь тем, кто здесь не был? Но ты-то меня хоть немножко понимаешь?

Она смотрела на меня в упор зелеными глазами, а я колебался и, поколебавшись, соврал:

— Не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права… Тишина, пустота…

— Вот видишь, — сказала она, — даже ты не понимаешь. Ну ладно, хватит об этом. — Она села на стол напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в щеку, засмеялась. — Выговорилась, и как-то легче стало. С Комовым, сам понимаешь, не разговоришься, а к Вандеру лучше с этим не соваться — сгноит в медотсеке…

Напряжение, сковывавшее ее, да и меня тоже, сразу же спало, и разговор превратился в легкий треп. Я пожаловался ей на вчерашние неприятности с роботами, рассказал, как Вадик купался один в целом океане, и спросил, как продвигаются квартирьерские дела. Майка ответила, что они наметили четыре места для стойбищ, места во-

обще-то хорошие, и при прочих равных условиях любой пантианин с удовольствием провел бы здесь всю свою жизнь, но, поскольку вся эта затея все равно обречена, говорить особенно не о чем. Я напомнил Майке, что она всегда отличалась природным скептицизмом и что скептицизм этот далеко не всегда оправдывался. Майка возразила, что речь сейчас идет уже не о природном скептицизме, а о скептицизме природы и что я вообще салага, малек и, по сути, должен был бы стоять перед нею, опытной Майкой, по стойке «смирно». Тогда я сказал ей, что настоящий опытный человек никогда не станет спорить с кибертехником, ибо кибертехник является на корабле той осью, вокруг которой, собственно, происходит все коловращение жизни. Майка заметила, что большинство осей вращения является, по сути, понятием воображаемым, не более чем геометрическими местами точек… Потом мы затеяли спор, есть ли разница между понятиями «ось вращения» и «ось коловращения», в общем, мы трепались, и со стороны, вероятно, это выглядело довольно мило, но не знаю, о чем там в это время думала Майка, а я лично вторым планом все время прикидывал, не заняться ли мне прямо сейчас профилактикой всех систем обеспечения

безопасности. Правда, системы эти были рассчитаны на опасность биологическую, и невозможно было сказать, годятся ли они против опасности некротической, но при всем при том береженого бог бережет, под лежачий камень вода не течет, и вообще: тише едешь — дальше будешь.

Словом, когда Майка стала позевывать и жаловаться на недосып, я отослал ее вздремнуть перед обедом, а сам прежде всего полез в библиотеку, отыскал толковый словарь и посмотрел, что такое «некротический». Толкование произвело на меня тяжелое впечатление, и я решил начать профилактику немедленно. Предварительно, правда, я забежал в рубку посмотреть, как работают мои ребятишки, и застал там Вандерхузе как раз в тот момент, когда он складывал аккуратной стопочкой свое экспертное заключение. «Сейчас отнесу это Комову, — объявил он, увидев меня, — потом дам посмотреть Майке, а потом устроим обсуждение, как ты полагаешь? Позвать тебя?» Я сказал, что позвать, и сообщил, что буду в отсеке обеспечения безопасности. Он с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал и вышел.

Меня позвали часа через два. Вандерхузе по интеркому объявил, что заключение прочитали все

члены комиссии, и спросил, не хочу ли прочесть и я. Я, конечно, хотел бы, но профилактика у меня была в самом разгаре, сторож-разведчик наполовину выпотрошен, имела место запарка, так что я ответил в том смысле, что читать, пожалуй, не стану, а на обсуждение явлюсь непременно, как только покончу с делами. «У меня еще на час работы, — сказал я, — так что обедайте без меня».

В общем, когда я явился в кают-компанию, обед кончился, и обсуждение началось. Я взял себе супу, сел в сторонке и стал есть и слушать.

— Не могу я принять метеоритную гипотезу совсем без оговорок, — укоризненно говорил Вандерхузе. — «Пеликаны» прекрасно защищены от метеоритного удара, Геннадий. Он бы просто уклонился.

— Не спорю, — отвечал Комов, глядя в стол и брезгливо морщась. — Однако предположите, что метеоритная атака произошла в момент выхода корабля из подпространства…

— Да, конечно, — согласился Вандерхузе. — В этом случае — конечно. Но вероятность…

— Вы меня удивляете, Яков. У корабля абсолютно разрушен рейсовый двигатель. Огромная сквозная дыра со следами сильного термического воздействия. По-моему, каждому нормальному

человеку ясно, что это может быть только метеорит.

У Вандерхузе был очень несчастный вид.

— Ну… Хорошо, — сказал он. — Ну, пусть будет по-вашему… Вы просто не понимаете, Геннадий, вы не звездолетчик… Вы просто не понимаете, насколько это маловероятно. Именно в момент выхода из подпространства огромный метеорит огромной энергии… Я просто не знаю, с чем это сравнить по невероятности!

— Хорошо. Что вы предлагаете?

Вандерхузе оглядел всех в поисках поддержки и, поддержки не обнаружив, сказал:

— Хорошо, пусть будет так. Но я все-таки буду настаивать, чтобы формулировка имела сослагательный оттенок. Скажем: «Указанные факты заставляют предположить…»

— «Сделать вывод», — поправил Комов.

— «Сделать вывод»? — Вандерхузе нахмурился. — Да нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно предположение! «…заставляют предположить, что корабль был поражен метеоритом высокой энергии в момент появления из подпространства». Вот так. Предлагаю согласиться.

Несколько секунд Комов думал, шевеля желва-

ками на скулах, потом сказал:

— Согласен. Перехожу к следующей поправке.

— Минуточку, — сказал Вандерхузе. — А ты, Майка?

Майка пожала плечами.

— Честно говоря, не ощущаю разницы. В общем, согласна.

— Следующая поправка, — нетерпеливо произнес Комов. — Нам не надо запрашивать мнение базы, как поступить с останками. Вообще этому вопросу не место в экспертном заключении. Надо дать специальную радиограмму, что останки пилотов помещены в контейнеры, залиты стеклопластом и в ближайшее время будут переправлены на базу.

— Однако… — с растерянным видом начал Вандерхузе.

— Я займусь этим завтра, — прервал его Комов. — Сам.

— Может быть, следовало бы похоронить их здесь? — негромко сказала Майка.

— Не возражаю, — сейчас же сказал Комов. — Но, как правило, в таких случаях останки пересылаются на Землю… Что? — повернулся он к Вандерхузе.

Вандерхузе, открывший было рот, помотал

головой и сказал:

— Ничего.

— Короче говоря, — сказал Комов, — этот вопрос из заключения я предлагаю выбросить. Согласны, Яков?

— Пожалуй, — сказал Вандерхузе. — А ты, Майка?

Майка колебалась, и я понял ее. Как-то все это происходило слишком по-деловому. Правда, я не знаю, как это должно происходить, но, по-моему, такие вопросы нельзя решать голосованием.

— Прекрасно, — произнес Комов как ни в чем не бывало. — Теперь относительно причин и обстоятельств смерти пилотов. Акт о вскрытии и фотоматериалы меня вполне удовлетворяют, а формулировку я предлагаю такую: «Положение трупов свидетельствует о том, что смерть пилотов наступила вследствие удара корабля о поверхность планеты. Мужчина погиб раньше женщины, успев только стереть бортжурнал. Выбраться из кресла пилота он был уже не в состоянии. Женщина, напротив, была жива еще некоторое время и пыталась покинуть корабль. Смерть застигла ее уже в кессонной камере». Ну а дальше — по вашему тексту.

— Гм… — сказал Вандерхузе с большим сомне-

нием. — Не слишком ли все это категорично, как вы полагаете, Геннадий? Ведь если придерживаться того самого акта о вскрытии, против которого вы не возражаете, бедняжка была просто не в состоянии доползти до кессона.

— Тем не менее она оказалась там, — холодно произнес Комов.

— Но ведь именно это обстоятельство… — проникновенно начал Вандерхузе, прижимая руки к груди.

— Слушайте, Яков, — сказал Комов. — Никто не знает, на что способен человек в критических условиях. И особенно женщина. Вспомните историю Марты Пристли. Вспомните историю Колесниченко. И вспомните вообще историю, Яков.

Наступило молчание. Вандерхузе сидел с несчастным видом и безжалостно таскал себя за бакенбарды.

— А меня как раз не удивляет, что она оказалась в кессоне, — подала голос Майка. — Я другого не понимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же удар, человек умирает…

— Ну это как раз… — неуверенно проговорил Вандерхузе. — Это может быть. Агония, шарил руками по пульту, зацепил ключ…

— Вопрос о бортжурнале, — сказал Комов, —

вынесен в раздел фактов особого значения. Лично я думаю, что эта загадка никогда не будет разрешена… Если, впрочем, это загадка, а не случайное стечение обстоятельств. Продолжаем. — Он быстро перебрал разбросанные перед ним листки. — Собственно, у меня, пожалуй, больше нет замечаний. Земная микрофлора и микрофауна, по-видимому, погибла, следов ее, во всяком случае, нет… Так… Личные бумаги. Разбирать их — дело не наше, кроме того, они в таком состоянии, что мы можем только напортить. Завтра я их законсервирую и привезу сюда… Да! Попов, тут есть кое-что по вашей части. Вам известно кибернетическое оборудование кораблей типа «Пеликан»?

— Да, конечно, — сказал я, поспешно отодвигая тарелку.

— Будьте добры, — он перебросил мне листок бумаги, — вот опись всех обнаруженных кибермеханизмов. Проверьте, все ли на месте.

Я взял опись. Все выжидательно глядели на меня.

— Да, — проговорил я, — пожалуй, все на месте. Даже инициаторные разведчики на месте, обычно их всегда некомплект… А вот этого я не понимаю. Что такое: «Ремонтный робот, переобо-

рудованный в шьющее устройство»?

— Яков, объясните, — распорядился Комов.

Вандерхузе задрал голову и выпятил челюсть.

— Понимаешь ли, Стась, — как бы в задумчивости произнес он. — Трудно тут что-либо объяснить. Просто ремонтный кибер, превращенный в шьющее устройство. В устройство, которое шьет, понимаешь? У кого-то из них, видимо, у женщины, было несколько необычное хобби.

— Ага, — сказал я, удивившись. — Но это точно — ремонтный кибер?

— Несомненно, — уверенно сказал Вандерхузе.

— Тогда здесь полный комплект, — сказал я, возвращая Комову опись. — Просто на редкость полный. Наверное, они ни разу не высаживались на тяжелых планетах.

— Спасибо, — сказал Комов. — Когда будет готов чистовик заключения, я попрошу вас подписать раздел об утечке выжившей кибертехники.

— Но ведь утечки нет, — возразил я.

Комов не обратил на меня внимания, а Вандерхузе объяснил:

— Это просто название раздела: «Утечка выжившей кибертехники». Ты подпишешь, что утечки нет.

— Так… — проговорил Комов, собирая в пачку

разбросанные листы. — Теперь я очень прошу вас, Яков, привести все это в окончательный порядок, мы подпишемся, и уже сегодня можно будет радировать. А теперь, если ни у кого нет дополнительных соображений, я пойду.

Дополнительных соображений не было, и он ушел. Вандерхузе с тяжким вздохом поднялся, взвесил на ладони пачку листов заключения, посмотрел на нас, откинув голову, и тоже удалился.

— Вандер явно недоволен, — заметил я, накладывая на тарелку жаркое.

— Я тоже недовольна, — сказала Майка. — Как-то недостойно все это получилось. Я не умею объяснить, может быть, это я по-детски, наивно… Но должно же быть… Должна же быть минута молчания какая-то… А тут — раз-два, завертели-закрутили колесо: положение останков, утечка кибертехники, топографические параметры… Тьфу! Как будто в школе на практических занятиях…

Я был полностью с нею согласен.

— Ведь Комов никому рта не дает раскрыть! — продолжала она со злостью. — Все ему ясно, все ему очевидно, а на самом деле не так все это ясно. И с метеоритом неясно, и особенно с этим

бортжурналом. И не верю я, что ему все ясно! По-моему, у него что-то на уме, и Вандер это тоже понимает, только не знает, как его зацепить… а может быть, считает, что это несущественно…

— Может быть, это и в самом деле несущественно… — пробормотал я неуверенно.

— А я и не говорю, что существенно! — возразила Майка. — Мне просто не нравится, как Комов себя ведет. Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится! Мне о нем все уши прожужжали, а я теперь хожу и считаю дни, сколько мне с ним работать осталось… В жизни больше никогда с ним работать не буду!

— Ну, не так уж много и осталось, — примирительно сказал я, — всего-то еще дней двадцать…

На том мы и расстались. Майка пошла приводить в порядок свои измерения и квартирьерские кроки, а я отправился в рубку, где меня ожидал маленький сюрприз: Том сообщал, что закладка фундамента закончена, и предлагал принять работу. Я накинул доху и побежал на стройплощадку.

Солнце уже зашло, сумерки сгустились. Странные здесь сумерки — темно-фиолетовые, как разведенные чернила. Луны нет, зато в изобилии северное сияние, да еще какое! Гигантские по-

лотнища радужного света бесшумно развеваются над черным океаном, сворачиваются и разворачиваются, трепещут и вздрагивают, словно под ветром, переливаются белым, зеленым, розовым и вдруг мгновенно гаснут, оставив в глазах смутные цветные пятна, а потом вновь возникают, и тогда исчезают звезды, исчезают сумерки, все вокруг окрашивается в неестественные, но чистейшие цвета — туман над болотом становится красно-синим, айсберг вдали мерцает, как глыба янтаря, а по пляжу стремительно несутся зеленоватые тени.

Яростно растирая мерзнущие щеки и нос, я осматривал в этом чудном свете готовые фундаменты. Том, неотступно следовавший за мной по пятам, услужливо сообщал необходимые цифры, а когда сияние гасло — не менее услужливо включал прожекторы. И было, как всегда, мертвенно-тихо, только похрустывал у меня под каблуками смерзшийся песок. Потом я услышал голоса: Майка и Вандерхузе вышли подышать свежим воздухом и полюбоваться небесным спектаклем. Майке очень нравилось северное сияние — единственное, что ей нравилось на этой планете. Я был довольно далеко от корабля, метрах в ста, и не видел их, но голоса слышал со-

вершенно отчетливо. Впрочем, сначала я слушал их вполуха. Майка говорила что-то о поврежденных верхушках деревьев, а Вандерхузе гудел об эрозии бортовой квазиорганики — по-видимому, они снова обсуждали причины и обстоятельства гибели «Пеликана».

Была в их беседе какая-то странность. Повторяю: я вначале не очень-то прислушивался и только потом понял, в чем дело. Они разговаривали, словно не слушая друг друга. Например, Вандерхузе говорил: «Один планетарный двигатель у них уцелел, иначе они бы просто не могли маневрировать в атмосфере...» А Майка долбила свое: «Нет, Яков, не менее десяти-пятнадцати лет. Посмотрите на эти наплывы...»

Я спустился в один из фундаментов, чтобы осмотреть дно, а когда вылез, разговор сделался более связным, но зато менее понятным. Они словно репетировали какую-то пьесу.

— А это еще что такое? — спрашивала Майка.

— Я бы сказал, что это игрушка, — отвечал Вандерхузе.

— Я бы тоже так сказала. Но зачем?

— Хобби. Ничего удивительного, весьма распространенное хобби.

В общем, это было похоже, как мы развлека-

лись на базе в ожидании формировки. Вадим, скажем, ни с того ни с сего орал на всю столовую: «Капитан! Принимаю решение сбросить хвостовую часть и уходить в подпространство!» — на что какой-нибудь другой остряк немедленно откликался: «Ваше решение одобряю, капитан! Не забудьте головную часть, капитан!» — и так далее.

Впрочем, странный этот разговор скоро прекратился. Явственно чмокнула перепонка люка, и снова наступила тишина. Я осмотрел последний фундамент, похвалил Тома за хорошую работу и приказал ему переключить Джека на следующий этап. Сполохи погасли, и в наступившей тьме ничего не было видно, кроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, что кончик носа у меня вот-вот отвалится, я рысцой побежал к кораблю, нашарил перепонку и вскочил в кессон. Кессон — это прекрасно. Это одно из самых чудесных помещений корабля. Наверное, это потому, что кессон — первое помещение корабля, которое дарует тебе сладостное ощущение дома: вернулся домой, в родное, теплое, защищенное, из чужого, ледяного, угрожающего. Из тьмы в свет. Я сбросил доху и, на ходу покрякивая и растирая ладони, направился в рубку.

Вандерхузе уже сидел там, обложенный своими бумажками, и, скорбно склонив голову, переписывал начисто очередную страницу заключения. Шифрующая машинка бойко стрекотала под его пальцами.

— А мои ребятки уже фундамент закончили, — похвастался я.

— Угу, — отозвался Вандерхузе.

— А что у вас там за игрушки? — спросил я.

— Игрушки… — рассеянно повторил Вандерхузе. — Игрушки? — переспросил он, не переставая стрекотать машинкой. — Ах, игрушки… — Он отложил готовый листок и взял другой.

Я подождал немного и напомнил:

— Так что это за игрушки?

— Что это за игрушки… — со значительностью в голосе повторил Вандерхузе и, задрав голову, поглядел на меня. — Ты так ставишь вопрос? Это, видишь ли… А впрочем, кто его знает, что это за игрушки. Там, на «Пеликане»… Извини, Стась, я сначала закончу, как ты полагаешь?

Я на цыпочках прошел к своему пульту, последил немного за работой Джека, который принялся уже возводить стены метеостанции, а потом, так же на цыпочках, вышел из рубки и отправился к Майке.

Все мыслимое освещение в каюте Майки было включено, а сама она восседала по-турецки на койке и тоже была очень занята. На столе, на койке, на полу расстилались простыни-склейки, карты, кроки, раздвинутые гармошки аэрофотографий, наброски и записи, и Майка по очереди все это просматривала, делала какие-то пометки, иногда хватала лупу, а иногда — бутылку с соком, стоявшую на стуле рядом. Понаблюдав за ней некоторое время, я выбрал момент, когда бутылка с соком покинула стул, и уселся на стул сам, так что когда Майка, не глядя, сунула бутылку обратно, то попала мне прямо в протянутую руку.

— Спасибо, — сказал я и отхлебнул.

Майка приподняла голову.

— А, это ты? — произнесла она с неудовольствием. — Ты чего?

— Просто так зашел, — сказал я благодушно. — Нагулялась?

— И не думала, — возразила она, отбирая у меня бутылку. — Сижу как проклятая, вчера вечером не работала, накопилось тут всякого… Какое тут гулянье!

Она вернула мне бутылку, я машинально отхлебнул, ощущая смутное беспокойство, и тут у меня словно пелена с глаз упала: Майка была

одета по-домашнему, в свою любимую пушистую кофту и шорты, на голове у нее был платок, и волосы под платком были влажные.

— В душе была? — тупо спросил я.

Она что-то ответила, но я и так уже все понял. Я встал. Я аккуратно поставил бутылку на сиденье. Я пробормотал что-то, не помню — что. Я каким-то образом очутился в коридоре, потом у себя в каюте, погасил зачем-то верхний свет, включил зачем-то ночничок, лег на койку и повернулся лицом к стене. Меня опять трясло. Помню, в голове моей крутились какие-то обрывочные мысли, вроде: «Теперь-то уж все пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и бесповоротно». Я поймал себя на том, что опять прислушиваюсь. И я опять что-то слышал, что-то неподобающее. Тогда я рывком поднялся, полез в ночной столик, взял таблетку снотворного и положил под язык. Потом я снова лег. По стенам топотали ящерицы, затененный потолок медленно поворачивался, ночник то совсем меркнул, то разгорался нестерпимо ярко, погибающие мухи отчаянно зудели по углам. Кажется, приходила Майка, смотрела на меня с беспокойством, чем-то укрыла и исчезла, а потом появился Вадик, уселся у меня в ногах и сказал сердито: «Что же ты валяешься? Целая ко-

миссия тебя ждет, а ты разлегся». — «Да ты громче говори, — сказала ему Нинон, — у него же что-то с ушами, он не слышит». Я сделал каменное лицо и сказал, что все это чепуха. Я встал, и все вместе мы вошли в разбитый «Пеликан», вся органика в нем распалась, и стоял острый нашатырный запах, как тогда в коридоре. Но это был не совсем «Пеликан», скорее уж это была стройплощадка, копошились мои ребятишки, посадочная полоса изумительно сверкала под солнцем, и я все боялся, что Том наедет на две мумии, которые лежали поперек, то есть это все думали, что мумии, а на самом деле это были Комов и Вандерхузе, только надо было, чтобы этого никто не заметил, потому что они разговаривали и слышал их только я. Но от Майки не скроешься. «Разве вы не видите, что ему плохо?» — сердито сказала она и положила мне на рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном спирте. Я чуть не задохнулся, замотал головой и сел на койке.

Глаза у меня были открыты, и в свете ночника я сразу увидел перед собой человека. Он стоял возле самой койки и, наклонившись, внимательно смотрел мне прямо в лицо. В слабом свете он казался темным, почти черным — бредовая скособоченная фигура без лица, зыбкая, без четких

очертаний, и такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на груди и на плече.

Уже точно зная, чем это кончится, я протянул к нему руку, и рука моя прошла сквозь него, как сквозь воздух, а он заколыхался, начал таять и через несколько секунд исчез без следа. Я откинулся на спину и закрыл глаза. А вы знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка? Под самым носом… Я был мокрый как мышь, и мне было невыносимо душно, я почти задыхался.

Глава четвертая
ПРИЗРАКИ И ЛЮДИ

Я проснулся поздно, с тяжелой головой и с твердым намерением сразу же после завтрака уединиться где-нибудь с Вандерхузе и выложить ему все. Кажется, никогда еще в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Все было кончено для меня, поэтому я не стал даже делать зарядку, а просто принял усиленный ионный душ и побрел в кают-компанию. Уже на пороге я сообразил, что вчера вечером за всеми своими неприятностями я начисто забыл отдать повару распоряжение насчет завтрака, и это меня окончательно доконало. Пробормотав какое-то невнятное приветствие и чувствуя, что от горя и стыда я красен как вареный рак, я уселся на свое место и уныло оглядел стол, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Трапеза была, прямо скажем, монастырская, послушническая была трапеза. Все питались черным хлебом и молоком. Вандерхузе посыпал свой ломоть солью. Майка помазала свой ломоть маслом. Комов жевал хлеб всухомятку, не прикасаясь даже к молоку.

У меня аппетита не было никакого — подумать было страшно жевать что-нибудь. Я взял себе стакан молока, отхлебнул. Боковым зрением я видел, что Майка смотрит на меня и что ей очень хочется спросить, что со мной и вообще. Однако она ничего не спросила, а Вандерхузе принялся многословно рассуждать, какая это с медицинской точки зрения полезная вещь — разгрузочный день, и как хорошо, что у нас сегодня именно такой завтрак, а не какой-нибудь другой. Он подробно объяснил нам, что такое пост и что такое великий пост, и не без уважения отозвался о ранних христианах, которые дело свое знали туго. Заодно он рассказал нам, что такое масленица, но скоро, впрочем, почувствовал, что слишком увлекается описанием блинов с икрой, с балыком, с семгой и другими вкусными вещами, оборвал себя и принялся в некотором затруднении расправлять бакенбарды. Разговор не завязывался. Я беспокоился за себя, Майка беспокоилась за меня. А что касается Комова, то он опять, как и вчера, был явно не в своей тарелке. Глаза у него были красные, он большей частью смотрел в стол, но время от времени вскидывал голову и озирался, как будто его окликали. Хлеба он накрошил вокруг себя ужасно и продолжал

крошить, так что мне захотелось дать ему по рукам, как маленькому. Так мы и сидели унылой компанией, а бедный Вандерхузе из сил выбивался, стараясь нас рассеять.

Он как раз мыкался с какой-то длиннющей заунывной историей, которую придумывал на ходу и никак не мог придумать до конца, как вдруг Комов издал странный сдавленный звук, словно сухой кусок хлеба встал ему наконец поперек горла. Я взглянул на него через стол и испугался. Комов сидел прямой, вцепившись обеими руками в край столешницы, красные глаза его вылезли из орбит, он смотрел куда-то мимо меня и стремительно бледнел. Я обернулся. Я обмер. У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, стоял мой давешний призрак.

Теперь я видел его совершенно отчетливо. Это был человек, во всяком случае — гуманоид, маленький, тощий, совершенно голый. Кожа у него была темная, почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. Лица его я не разглядел или не запомнил, но мне сразу бросилось в глаза, как и в ночном моем кошмаре, что человечек этот был весь какой-то скособоченный и словно бы размытый. И еще — глаза: большие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как у статуи.

— Да вот же он! Вот он! — гаркнул Комов.

Он указывал пальцем совсем в другую сторону, и там у меня на глазах прямо из воздуха возникла новая фигура. Это был все тот же застывший лоснящийся призрак, но теперь он застыл в стремительном рывке, на бегу, как фотография спринтера на старте. И в ту же секунду Майка бросилась ему в ноги. С грохотом полетело в сторону кресло, Майка с воинственным воплем проскочила сквозь призрак и врезалась в экран видеофона, я еще успел заметить, как призрак заколебался и начал таять, а Комов уже кричал:

— Дверь! Дверь!

И я увидел: кто-то маленький, белый и матовый, как стена кают-компании, согнувшись в неслышном беге, скользнул в дверь и исчез в коридоре. И тогда я рванулся за ним.

Теперь об этом стыдно вспоминать, но тогда мне было совершенно безразлично, что это за существо, откуда оно, почему оно здесь и зачем, — я испытывал только безмерное облегчение, уже понимая, что с этой минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и страхи, и еще я испытывал страстное желание догнать, схватить, скрутить и притащить.

В дверях я столкнулся с Комовым, сбил его с ног,

споткнулся о него, пробежал по коридору на четвереньках, коридор был уже пуст, только резко и знакомо пахло нашатырным спиртом, позади что-то кричал Комов, стучали дробно каблуки, я вскочил, промчался через кессон, нырнул в люк, еще не успевший зарасти перепонкой, и вылетел наружу, в лиловатое сияние солнца.

Я сразу увидел его. Он бежал к стройплощадке, бежал легко, едва касаясь босыми ногами мерзлого песка, он был все такой же скособоченный и как-то странно двигал на бегу разведенными локтями, но теперь он был не темный и не матово-белый, а светло-лиловый, и солнце отсвечивало на его тощих плечах и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и я замедлил бег, ожидая, что сейчас он испугается и свернет вправо или влево, но он не испугался, он проскочил в десяти шагах от Тома, и я глазам своим не поверил, когда этот величественный дурак вежливо просигналил ему обычное «жду приказаний».

— К болоту! — кричал позади задыхающийся голос Майки. — Отжимай его к болоту!

Маленький абориген и без этого бежал по направлению к болоту. Бегать, надо сказать, он умел, и расстояние между нами сокращалось очень медленно. Ветер свистел у меня в ушах, из-

далека что-то кричал Комов, но его решительно заглушала Майка.

— Левее, левее бери! — азартно вопила она.

Я взял левее, выскочил на посадочную полосу, на уже готовый участок, ровный, с удобнейшей рубчатой поверхностью, и здесь дело у меня пошло лучше — я стал нагонять. «Не уйдешь, — твердил я про себя, — нет, брат, теперь не уйдешь. Ты мне за все ответишь...» Я глядел не отрываясь на его быстро работающие лопатки, на мелькающие голые ноги, на клочья пара, взлетающие из-за его плеча. Я нагонял и испытывал ликование. Полоса кончалась, но до серой пелены над болотом оставалось всего шагов сто, и я нагонял.

Добежав до края трясины, до унылых зарослей карликового тростника, он остановился. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, потом посмотрел на меня через плечо, и я снова увидел его большие темные глаза, никакие не застывшие, а, напротив, очень живые и вроде бы смеющиеся, и вдруг он присел на корточки, обхватил руками колени и покатился. Я даже не сразу понял, что произошло. Только что стоял человек, странный человек, наверное, и не человек вовсе, но по обличью все-таки человек, и вдруг человека не стало, а по трясине, через непрохо-

димую бездонную топь, катится, разбрызгивая грязь и мутную воду, какой-то нелепый серый колобок. Да еще как катится! Я не успел добежать до берега, а он уже исчез за клочьями тумана, и только слышались оттуда, из-за сероватой пелены, затихающие шорохи, плески и тоненький пронзительный свист.

С топотом набежала Майка и остановилась рядом, тяжело дыша.

— Ушел, — констатировала она с досадой.

— Ушел, — сказал я.

Несколько секунд мы стояли, вглядываясь в мутные клубы тумана. Потом Майка вытерла со лба пот и проговорила:

— Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…

— А от тебя, квартирьер, и подавно уйду, — добавил я и огляделся.

Так. Дураки, значит, бегали, а умные, сами понимаете, стояли и смотрели. Мы с Майкой были вдвоем. Маленькие фигурки Комова и Вандерхузе темнели рядом с кораблем.

— А ничего себе пробежка получилась, — проговорила Майка, тоже глядя в сторону корабля. — Километра три, не меньше, как вы полагаете, капитан?

— Согласен с вами, капитан, — отозвался я.

— Слушай, — задумчиво сказала Майка. — А может быть, это все нам почудилось?

Я сгреб ее за плечи. Чувство свободы, здоровья, восторга, ощущение огромных сияющих перспектив с новой силой взорвалось во мне.

— Что ты в этом понимаешь, салажка! — гаркнул я, чуть не плача от счастья и тряся ее изо всех сил. — Что ты понимаешь в галлюцинациях! И не надо тебе ничего понимать! Живи счастливо и ни о чем таком не задумывайся!

Майка растерянно хлопала на меня глазами, пыталась вырваться, а я тряхнул ее напоследок хорошенько, обхватил за плечи и потащил к кораблю.

— Подожди, — слабо отбивалась ошеломленная Майка. — Что ты, в самом деле… Да отпусти ты меня, что за телячьи нежности?

— Идем, идем, — приговаривал я. — Идем! Сейчас нам любимец доктора Мбоги вломит — чует мое сердце, что зря мы эту беготню устроили, не надо было нам ее устраивать…

Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом присела на корточки, нагнула голову и, обхватив колени руками, качнулась вперед.

— Нет, — сказала она, снова выпрямляясь. — Этого я не понимаю.

— И не надо, — сказал я. — Комов нам все объяснит. Сначала выволочку даст, ведь мы ему контакт сорвали, а потом все-таки объяснит…

— Слушай, холодно! — сказала Майка, подпрыгнув на месте. — Бежим?

И мы побежали. Первые мои восторги утихли, и я стал соображать, что же все-таки произошло. Получалось, что планета-то на самом деле обитаемая! Да еще как обитаемая — крупные человекообразные существа, может быть, даже разумные, может быть, даже цивилизованные…

— Стась, — сказала Майка на бегу, — а может быть, это пантианин?

— Откуда? — удивился я.

— Ну… Мало ли откуда… Мы же не знаем всех деталей проекта. Может, переброска уже началась.

— Да нет, — сказал я. — Не похож он на пантианина. Пантиане рослые, краснокожие… Потом они одеты, елки-палки, а этот совсем голый!

Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку вперед.

— Бр-р-р! — произнесла она, растирая плечи. — Ну что, пойдем фитиль получать?

— Полуметровый, — сказал я.

— Хорошо смазанный, — сказала Майка.

— Семьдесят пять миллиметров в диаметре, — сказал я.

Мы крадучись проникли в рубку, но остаться незамеченными нам не удалось. Нас ждали. Комов расхаживал по рубке, заложив руки за спину, а Вандерхузе, глядя в пространство и выпятив челюсть, наматывал свои бакенбарды: правый на палец правой руки, а левый — на палец левой. Увидев нас, Комов остановился, но Майка не дала ему заговорить.

— Ушел, — деловито доложила она. — Ушел прямо через трясину, причем совершенно необычным способом…

— Помолчите, — прервал ее Комов.

«Сейчас начнется», — подумал я, заранее настраиваясь на отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов приказал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко мне:

— Я вас слушаю, Попов. Рассказывайте все. До мельчайших подробностей.

Интересно, что я даже не удивился. Такая постановка вопроса показалась мне совершенно естественной. И я рассказал все — о шорохах, о запахах, о детском плаче, о криках женщины, о странном диалоге вчера вечером и о черном призраке сегодня ночью. Майка слушала меня,

приоткрыв рот, Вандерхузе хмурился и укоризненно качал головой, а Комов не отрываясь глядел мне в лицо — прищуренные глаза его вновь были пристальны и холодны, лицо затвердело, он покусывал нижнюю губу и время от времени напряженно сплетал пальцы, похрустывая суставами. Когда я закончил, воцарилось молчание. Потом Комов спросил:

— Вы уверены, что это плакал ребенок?

— Д-да… Во всяком случае, очень похоже…

Вандерхузе шумно перевел дух и похлопал ладонью по подлокотнику кресла.

— И ты все это вытерпел! — проговорила Майка с испугом. — Бедный Стасик!

— Должен тебе сказать, Стась… — внушительно начал Вандерхузе, но Комов перебил его.

— А камни? — спросил он.

— Что — камни? — не понял я.

— Откуда взялись камни?

— Это на стройплощадке? Киберы натаскали, наверное. При чем это здесь?

— Откуда киберы могли взять камни?

— Н-ну… — начал я и замолчал. Действительно, откуда?

— Кругом песчаный пляж, — продолжал Комов. — Ни одного камешка. Киберы с площадки

не отлучались. Откуда же на полосе булыжники и откуда на полосе сучья? — Он оглядел нас и усмехнулся. — Все это риторические вопросы, разумеется. Могу добавить, что у нас за кормой, прямо под маяком, целая россыпь булыжников. Очень любопытная россыпь. Могу также добавить… Простите, вы кончили, Стась? Спасибо. А теперь послушайте, что было со мной.

Комову, оказывается, тоже пришлось нелегко. Правда, испытания его были несколько иного рода. Испытания интеллекта. На второй день после прибытия, запуская в озеро пантианских рыб, он заметил в двадцати шагах от себя необычное ярко-красное пятно, которое расплылось и исчезло, прежде чем он решился приблизиться. На следующий день он обнаружил на самой макушке высоты 12 дохлую рыбу, явно одну из запущенных накануне. Под утро четвертого дня он проснулся с явственным ощущением, что в каюте находится кто-то посторонний. Постороннего не оказалось, но Комову послышался щелчок лопнувшей перепонки люка. Выйдя из корабля, он обнаружил, во-первых, россыпь камней у кормы, а во-вторых, камни и охапки сучьев на стройплощадке. После разговора со мной он окончательно утвердился в мысли, что в окрестностях корабля происходит

неладное. Он уже был почти уверен, что поисковые группы проглядели какой-то чрезвычайно важный фактор, действующий на планете, и только глубокая убежденность в том, что разумную жизнь проглядеть было бы невозможно, удерживала его от самых решительных шагов. Он только принял все меры, чтобы район действия нашей группы не стал объектом нашествия «любопытствующих бездельников». Именно поэтому он изо всех сил старался сформулировать экспертное заключение таким образом, чтобы оно не вызывало ни малейших сомнений. Между тем мое возбужденно-подавленное состояние прекрасно подтверждало его предварительный вывод о том, что неизвестные существа способны проникать в корабль. Он стал ждать этого проникновения и дождался его сегодня утром.

— Резюмирую, — объявил он, словно читая лекцию. — По крайней мере этот район планеты, вопреки данным предварительных исследований, обитаем крупными позвоночными, причем есть все основания предполагать, что существа эти разумны. По-видимому, это троглодиты, приспособившиеся к жизни в подземных пустотах. Судя по тому, чему мы были свидетелями, средний абориген анатомически напоминает че-

ловека, обладает ярко выраженной способностью к мимикрии, а также и, вероятно, в связи с этим — способностью к воспроизводству защитно-отвлекающих фантомов. Должен сказать, что для крупных позвоночных такая способность была до сих пор отмечена только у некоторых грызунов на Пандоре, на Земле же этой способностью обладают некоторые виды головоногих моллюсков. А теперь я хотел бы особенно подчеркнуть, что, несмотря на эти нечеловеческие и вообще негуманоидные способности, здешний абориген не только в анатомическом, но и в физиологическом и, в частности, в нейрологическом отношении необычайно, небывало близок к земному человеку. Я кончил.

— Как — кончили? — вскричал я, испугавшись. — А мои голоса? Значит, галлюцинации были?

Комов усмехнулся.

— Успокойтесь, Стась, — сказал он. — С вами все в порядке. Ваши «голоса» легко объясняются, если предположить, что устройство их голосового аппарата идентично нашему. Сходство голосового аппарата плюс развитая способность к имитации, плюс гипертрофированная фонетическая память…

— Стойте, — сказала Майка. — Я понимаю, они могли подслушать наши разговоры, но как же женский голос?

Комов кивнул.

— Да, приходится предположить, что они присутствовали при агонии.

Майка присвистнула.

— Слишком замысловато, — пробормотала она с сомнением.

— Предложите другое объяснение, — холодно возразил Комов. — Впрочем, вероятно, мы скоро узнаем имена погибших. Если пилота звали Александром…

— Ну хорошо, — сказал я. — А ребенок плакал?..

— А вы уверены, что это плакал ребенок?

— А с чем это можно спутать?

Комов уставился на меня, плотно прижал пальцем верхнюю губу и вдруг приглушенно залаял. Именно залаял — другого слова я не подберу.

— Что это было? — спросил он. — Собака?

— Похоже, — сказал я с уважением.

— Так вот, это я произнес фразу на одном из наречий Леониды.

Я был сражен. Майка тоже. Некоторое время все молчали. Все было несомненно так, как он

говорил. Все объяснялось, все получалось очень изящно, но… Было, конечно, очень приятно сознавать, что все страхи остались позади и что именно нашей группе повезло открыть еще одну гуманоидную расу. Однако вместе с тем это означало самую решительную перемену в наших судьбах. Да и не только в наших. Во-первых, невооруженным глазом было видно, что проекту «Ковчег» конец. Планета занята, придется искать для пантиан другую. Во-вторых, если окончательно выяснится, что аборигены разумны, нас, наверное, сейчас же попрут отсюда, а вместо нас прибудет сюда Комиссия по контактам. Все эти соображения были очевидны не только мне, конечно, но и остальным. Вандерхузе расстроенно рванул себя за бакенбарды и сказал:

— Почему же именно разумные? По-моему, пока совершенно ниоткуда не следует, что они непременно разумные, как вы полагаете, Геннадий?

— Я не утверждаю, что они непременно разумные, — возразил Комов. — Я сказал только: есть все основания предполагать, что это так.

— Ну какие же это такие все основания? — продолжал расстраиваться Вандерхузе. Очень ему не хотелось покидать насиженное место. Известна

была за ним такая слабость — любовь к насиженным местам. — Что это за все основания? Внешний облик разве что…

— Дело не только в анатомии, — сказал Комов. — Камни под маяком расположены в явном порядке, это какие-то знаки. Камни и ветки на посадочной полосе… Я не хочу ничего утверждать категорически, но все это очень похоже на попытку войти в контакт, осуществляемую гуманоидами с первобытной культурой. Тайная разведка и одновременно не то дары, не то предупреждение…

— Да, похоже на то, — пробормотал Вандерхузе и впал в прострацию.

Снова последовало молчание, затем Майка тихонько спросила:

— А откуда следует, что они так уж особенно близки нам по своей физиологической и нервной организации?

Комов удовлетворенно покивал.

— Здесь мы тоже располагаем только косвенными соображениями, — сказал он. — Но это достаточно веские соображения. Во-первых, аборигены способны проникать в корабль. Корабль их впускает. Для сравнения напомню, что ни тагорцу, ни даже пантианину, при всем их огром-

ном сходстве с человеком, люковую перепонку не преодолеть. Люк просто не раскроется перед ним…

Тут я хлопнул себя по лбу.

— Елки-палки! Значит, все мои киберы были в полном порядке! Просто аборигены, наверное, бегали перед Томом, и он останавливался, потому что боялся наехать на человека… А потом они, наверное, считали Тома за живое существо, размахивали руками и случайно подали ему сигнал: «Опасность! Немедленно в корабль!» Это же очень простой сигнал… — Я показал. — Ну, мои ребятишки и полезли в трюм наперегонки… Конечно, так оно все и было… Да я и сейчас своими глазами видел: Том реагировал на аборигена как на человека.

— То есть? — быстро спросил Комов.

— То есть когда абориген появился в поле его визиров, Том просигналил: «Жду приказаний».

— Это очень ценное наблюдение, — произнес Комов.

Вандерхузе тяжело вздохнул.

— Да, — сказала Майка. — Конец «Ковчегу». Жалко.

— Что же теперь будет? — спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь.

Мне не ответили. Комов поднял листки со своими записями, под ними обнаружилась коробочка диктофона.

— Прошу прощения, — объявил он, очаровательно улыбаясь. — Чтобы не терять времени зря, я нашу дискуссию записал. Благодарю за точно поставленные вопросы. Стась, я попрошу вас, закодируйте все это и отправьте в экстренном импульсе прямо в Центр, копию на базу.

— Бедный Сидоров, — негромко сказал Вандерхузе. Комов коротко глянул на него и снова опустил глаза на бумаги.

Майка отодвинула кресло.

— Во всяком случае, с моим квартирьерством здесь покончено, — проговорила она. — Пойду собираться.

— Одну минуту, — остановил ее Комов. — Здесь спросили, что же теперь будет. Отвечаю. Как полномочный член Комиссии по контактам я беру командование на себя. Объявляю весь наш район зоной предполагаемого контакта. Яков, прошу вас, составьте соответствующую радиограмму. Все работы по проекту «Ковчег» прекращаются. Роботы демобилизуются и переводятся в трюм. Выход из корабля только с моего личного разрешения. Сегодняшняя охота с борзыми, вероятно,

уже создала для контакта определенные трудности. Новые недоразумения были бы крайне нежелательны. Итак, Майя, прошу вас загнать глайдер в ангар. Стась, прошу заняться вашей кибersистемой… — Он поднял палец. — Но сначала отправьте запись дискуссии… — Он улыбнулся и хотел сказать еще что-то, но в это время затрещал дешифратор рации.

Вандерхузе протянул длинную руку, извлек из приемного кармана карточку радиограммы и пробежал ее глазами. Брови его задрались.

— Гм, — сказал он. — На лету схватывают. Вы, случайно, не индуктор, Геннадий?

Он передал карточку Комову. Комов тоже пробежал ее глазами, и брови его тоже задрались.

— Вот этого я уже не понимаю, — пробормотал он, бросил карточку на стол и прошелся по рубке, заложив руки за спину.

Я взял карточку. Майка возбужденно сопела у меня над ухом. Радиограмма действительно была неожиданная.

ЭКСТРЕННАЯ, НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, ГОРБОВСКИЙ — НАЧАЛЬНИКУ БАЗЫ «КОВЧЕГ» СИДОРОВУ. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. ПОДГОТОВИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ЭВАКУАЦИЮ

ЛИЧНОГО
СОСТАВА И ОБОРУДОВАНИЯ. ДОПОЛНЕНИЕ — ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМКОНА КОМОВУ. ОБЪЯВЛЯЮ РАЙОН ЭР-2 ЗОНОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
КОНТАКТА. ОТВЕТСТВЕННЫМ НАЗНАЧАЕТЕСЬ ВЫ.

ГОРБОВСКИЙ.

— Вот это да! — сказала Майка с восхищением. — Ай да Горбовский!

Комов остановился и исподлобья оглядел нас.

— Прошу всех приступить к выполнению моих распоряжений. Яков, найдите мне, пожалуйста, копию нашего экспертного заключения.

Они с Вандерхузе погрузились в изучение копии, Майка вышла загонять глайдер, а я устроился возле рации и принялся кодировать нашу дискуссию. Однако не прошло и двух минут, как дешифратор заверещал снова. Комов отпихнул Вандерхузе и кинулся к рации. Перегнувшись через мое плечо, он жадно читал строчки, появляющиеся на карточке.

ЭКСТРЕННАЯ,
НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, БАДЕР — КАПИТАНУ ЭР-2 ВАНДЕРХУЗЕ. СРОЧНО

ПОДТВЕРДИТЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОСТАНКОВ ДВУХ, ПОВТОРЯЮ, ДВУХ ТЕЛ НА БОРТУ КОРАБЛЯ И СОСТОЯНИЕ БОРТОВОГО ЖУРНАЛА, ОПИСАННОЕ В ВАШЕМ ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ.

БАДЕР.

Комов перебросил карточку Вандерхузе и покусал ноготь большого пальца.

— Вот, значит, в чем дело, — проговорил он. — Так-так... — Он повернулся ко мне. — Стась, что вы сейчас делаете?

— Кодирую, — ответил я угрюмо. Я ничего не понимал.

— Дайте-ка мне диктофон, — сказал он. — Пока воздержимся. — Он спрятал диктофон в нагрудный карман и аккуратно застегнул клапан. — Значит, так. Яков. Подтвердите то, о чем они вас просят. Стась. Передайте подтверждение. А потом, Яков, я вас попрошу... Вы разбираетесь в этом лучше меня. Окажите мне любезность, поройтесь в нашей фильмотеке и просмотрите всю официальную документацию относительно бортовых журналов.

— Я и так знаю все относительно бортовых журналов, — возразил Вандерхузе недовольно. — Вы мне лучше просто скажите, что вас интересует.

— Я и сам толком не знаю, что меня интересует.

Меня интересует, случайно или намеренно был стерт бортжурнал. Если намеренно, то почему. Вы же видите, Бадера это тоже интересует… Не ленитесь, Яков. Существуют же все-таки какие-то правила, предусматривающие уничтожение бортжурнала.

— Не существует таких правил, — проворчал себе под нос Вандерхузе и тем не менее отправился оказывать любезность.

Комов сел писать подтверждение, а я мучительно соображал, что же такое происходит, почему такая паника и как в Центре могли усомниться в совершенно четких формулировках заключения. Не могли же они там подумать, что мы спутали останки землянина с останками какого-нибудь аборигена и добавили лишний труп… И как все-таки, елки-палки, Горбовский умудрился догадаться о том, что у нас здесь происходит? Никакого толку от моих рассуждений не было, и я с тоской смотрел на рабочие экраны, где все было так ясно и понятно, и я с горечью подумал, что туповатый человек самым печальным образом напоминает кибера. Вот я сейчас сижу, тупо выполняю приказания: сказали кодировать — кодировал, сказали прекратить — прекратил, а что происходит, зачем все это, чем все это кончится

— ничего не понимаю. Совершенно как мой Том: работает сейчас, бедняга, в поте лица, старается получше выполнить мои распоряжения и ведь знать не знает, что через десять минут я приду, загоню его со всей компанией в трюм, и работа его окажется вся ни к чему, и сам он станет никому не нужным…

Комов передал мне подтверждение, я закодировал текст, отослал его и хотел было уже пересесть за свой пульт, как вдруг раздался вызов с базы.

— ЭР-два? — осведомился глуховатый спокойный голос. — Сидоров говорит.

— ЭР-два слушает! — откликнулся я немедленно. — Говорит кибертехник Попов. Кого вам, Михаил Альбертович?

— Комова, пожалуйста.

Комов уже сидел в соседнем кресле.

— Я тебя слушаю, Атос, — сказал он.

— Что у вас там произошло? — спросил Сидоров.

— Аборигены, — ответил Комов, помедлив.

— Поподробнее, если можно, — сказал Сидоров.

— Прежде всего, имей в виду, Атос, — сказал Комов, — я не знаю и не понимаю, откуда Горбовский узнал об аборигенах. Мы сами начали

понимать, что к чему, всего два часа назад. Я подготовил для тебя информацию, начал уже ее кодировать, но тут все так запуталось, что я вынужден просить тебя потерпеть еще некоторое время. Меня тут старик Бадер на такую идею навел… Одним словом, потерпи, пожалуйста.

— Понятно, — сказал Сидоров. — Но сам факт существования аборигенов достоверен?

— Абсолютно, — сказал Комов.

Было слышно, как Сидоров вздохнул.

— Ну что ж, — сказал он. — Ничего не поделаешь. Начнем все сначала.

— Мне очень жаль, что все так получилось, — произнес Комов. — Честное слово, жаль.

— Ничего, — сказал Сидоров. — Переживем и это. — Он помолчал. — Как ты намерен действовать дальше? Будешь ждать комиссию?

— Нет. Я начну сегодня же. И я очень прошу тебя: оставь ЭР-два с экипажем в моем распоряжении.

— Разумеется, — сказал Сидоров. — Ну, не буду тебе мешать. Если что-нибудь понадобится…

— Спасибо, Атос. И не огорчайся, все еще наладится.

— Будем надеяться.

Они распрощались. Комов покусал ноготь

большого пальца, с каким-то непонятным раздражением посмотрел на меня и снова принялся ходить по рубке. Я догадывался, в чем тут дело. Комов и Сидоров были старые друзья, вместе учились, вместе где-то работали, но Комову всегда и во всем везло, а Сидорова за глаза называли Атос-неудачник. Не знаю, почему это так сложилось. Во всяком случае, Комов должен был сейчас испытывать большую неловкость. А тут еще радиограмма Горбовского. Получалось так, будто Комов информировал Центр, минуя Сидорова…

Я тихонько перебрался к своему пульту и остановил киберов. Комов уже сидел за столом, грыз ноготь и таращился на разбросанные листки. Я попросил разрешения выйти наружу.

— Зачем? — вскинулся было он, но тут же спохватился. — А, киберсистема… Пожалуйста, пожалуйста. Но как только закончите, немедленно возвращайтесь.

Я загнал ребятишек в трюм, демобилизовал их, закрепил на случай внезапного старта и постоял немного около люка, глядя на опустевшую стройплощадку, на белые стены несостоявшейся метеостанции, на айсберг, все такой же идеальный и равнодушный… Планета казалась мне теперь какой-то другой. Что-то в ней измени-

лось. Появился какой-то смысл в этом тумане, в карликовых зарослях, в скалистых отрогах, покрытых лиловатыми пятнами снега. Тишина осталась, конечно, но пустоты уже не было, и это было хорошо.

Я вернулся в корабль, заглянул в кают-компанию, где сердитый Вандерхузе копался в фильмотеке, чувства меня распирали, и я отправился утешаться к Майке. Майка расстелила по всей каюте огромную склейку и лежала на ней с лупой в глазу. Она даже не обернулась.

— Ничего не понимаю, — сказала она сердито. — Негде им здесь жить. Все мало-мальски годные для обитания точки мы обследовали. Не в болоте же они барахтаются, в самом деле!..

— А почему бы не в болоте? — спросил я, усаживаясь.

Майка села по-турецки и воззрилась на меня через лупу.

— Гуманоид не может жить в болоте, — объявила она веско.

— Почему же, — возразил я. — У нас на Земле были племена, которые жили даже на озерах, в свайных постройках…

— Если бы на этих болотах была хоть одна постройка… — сказала Майка.

— А может быть, они живут как раз под водой, наподобие водяных пауков, в таких воздушных колоколах?

Майка подумала.

— Нет, — сказала она с сожалением. — Он бы грязный был, грязи бы в корабль натащил…

— А если у них водоотталкивающий слой на коже? Водогрязеотталкивающий… Видела, как он лоснится? И удрал он от нас — куда? И такой способ передвижения — для чего?

Дискуссия завязалась. Под давлением многочисленных гипотез, которые я выдвигал, Майка принуждена была согласиться, что теоретически аборигенам ничто не препятствует жить в воздушных колоколах, хотя лично она, Майка, все-таки склонна полагать, что прав Комов, который считает аборигенов пещерными людьми. «Видел бы ты, какие там ущелья, — сказала она. — Вот бы куда сейчас слазить…» Она стала показывать по карте. Места даже на карте выглядели неприветливо: сначала полоса сопок, поросших карликовыми деревцами, за ней изборожденные бездонными разломами скалистые предгорья, наконец сам хребет, дикий и жестокий, покрытый вечными снегами, а за хребтом — бескрайняя каменистая равнина, унылая,

совершенно безжизненная, изрезанная вдоль и поперек глубокими каньонами. Это был насквозь промерзший, стылый мир, мир ощетинившихся минералов, и при одной мысли о том, чтобы здесь жить, ступать босыми ногами по этому каменному крошеву, кожа на спине у меня начинала ежиться.

«Ничего страшного, — утешала меня Майка, — я могу показать тебе инфрасъемки этой местности, под этим плато есть обширные участки подземного тепла, так что если они живут в пещерах, то от холода они во всяком случае не страдают». Я сейчас же вцепился в нее: а что же они едят? «Если есть пещерные люди, — сказала Майка, — могут быть и пещерные животные. А потом — мхи, грибы, и еще можно представить себе растения, которые осуществляют фотосинтез в инфракрасном свете». Я представил себе эту жизнь, жалкую пародию на то, что считаем жизнью мы, упорную, но вялую борьбу за существование, чудовищное однообразие впечатлений, и мне стало ужасно жалко аборигенов. И я объявил, что забота об этой расе — задача тоже достаточно благородная и благодарная. Майка возразила, что это совсем другое дело, что пантиане обречены, и если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили

бы свою историю; а что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают.

Это у нас старый спор. По моему мнению, человечество знает достаточно, чтобы судить, какое развитие исторически перспективно, а какое — нет. Майка же в этом сомневается. Она утверждает, что мы знаем ничтожно мало. Мы вошли в соприкосновение с двенадцатью разумными расами, причем три из них — негуманоидные. В каких отношениях мы находимся с этими негуманоидами, сам Горбовский, наверное, не может сказать: вступили мы с ними в контакт или не вступили, а если вступили, то по обоюдному ли согласию или навязали им себя, а может быть, они вообще воспринимают нас не как братьев по разуму, а как редкостное явление природы, вроде необычных метеоритов. Вот с гуманоидами все ясно: из девяти гуманоидных рас только три согласились иметь с нами что-либо общее, да и то леонидяне, например, охотно делятся с нами своей информацией, а нашу, земную, очень вежливо, но решительно отвергают. Казалось бы, совершенно очевидная вещь: квазиорганические механизмы гораздо рациональнее и экономичнее приручeнных животных, но леонидяне от

механизмов отказываются. Почему? Некоторое время мы спорили — почему, запутались, незаметно поменялись точками зрения (это у нас с Майкой бывает сплошь и рядом), и Майка наконец заявила, что все это вздор.

— Не в этом дело. Понимаешь ли ты, в чем состоит главная задача всякого контакта? — спросила она. — Понимаешь ли ты, почему человечество вот уже двести лет стремится к контактам, радуется, когда контакты удаются, горюет, когда ничего не получается?

Я, конечно, понимал.

— Изучение разума, — сказал я. — Исследование высшего продукта развития природы.

— Это, в общем, верно, — сказала Майка, — но это только слова, потому что на самом-то деле нас интересует не проблема разума вообще, а проблема нашего, человеческого разума, иначе говоря, нас прежде всего интересуем мы сами. Мы уже пятьдесят тысяч лет пытаемся понять, что мы такое, но, глядя изнутри, эту задачу не решить, как невозможно поднять себя самого за волосы. Надо посмотреть на себя извне, чужими глазами, совсем чужими…

— А зачем это, собственно, нужно? — агрессивно осведомился я.

— А затем, — веско сказала Майка, — что человечество становится галактическим. Вот как ты представляешь себе человечество через сто лет?

— Как представляю? — Я пожал плечами. — Да так же, как ты… Конец биологической революции, преодоление галактического барьера, выход в нуль-мир… ну, широкое распространение контактного видения, реализация П-абстракций…

— Я тебя не спрашиваю, как ты себе представляешь достижения человечества через сто лет. Я тебя спрашиваю, как ты представляешь себе само человечество через сто лет?

Я озадаченно поморгал. Я не улавливал разницы. Майка смотрела на меня победительно.

— Про идеи Комова слыхал? — спросила она. — Вертикальный прогресс и все такое прочее…

— Вертикальный прогресс? — Что-то такое я вспоминал. — Подожди… Это, кажется, Боровик, Микава… Да?

Она полезла в стол и принялась там копаться.

— Вот ты тогда плясал в баре со своей Танечкой, а Комов собирал в библиотеке ребят… На! — Она протянула мне кристаллофон. — Послушай.

Я неохотно нацепил кристаллофон и стал слушать. Это было что-то вроде лекции, читал Комов, и запись начиналась с полуслова. Комов говорил

неторопливо, просто, очень доступно, применяясь, по-видимому, к уровню аудитории. Он приводил много примеров, острил. Получалось у него примерно следующее.

Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим. Сто тысяч лет человечество пробиралось по узкой пещере, через завалы, через заросли, гибло под обвалами, попадало в тупики, но впереди всегда была синева, свет, цель, и вот мы вышли из ущелья под синее небо и разлились по равнине. Да, равнина велика, есть куда разливаться. Но теперь мы видим, что это — равнина, а над нею — небо. Новое измерение. Да, на равнине хорошо, и можно вволю заниматься реализацией П-абстракций. И казалось бы, никакая сила не гонит нас вверх, в новое измерение… Но галактический человек не есть просто земной человек, живущий в галактических просторах по законам Земли. Это нечто большее. С иными законами существования, с иными целями существования. А ведь мы не знаем ни этих законов, ни этих целей. Так что, по сути, речь идет о формулировке идеала галактического человека. Идеал земного человека строился в течение тысячелетий на опыте предков, на опыте самых различных

форм живого нашей планеты. Идеал человека галактического, по-видимому, следует строить на опыте галактических форм жизни, на опыте историй разных разумов Галактики. Пока мы даже не знаем, как подойти к этой задаче, а ведь нам предстоит еще решать ее, причем решать так, чтобы свести к минимуму число возможных жертв и ошибок. Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно…

Заканчивалась запись тоже на полуслове.

Честно говоря, все это до меня как-то не дошло. При чем здесь галактический идеал? По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то там галактическими. Я бы сказал, наоборот, люди несут в космос Землю — земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уж на то пошло, то для меня, да и для всех моих знакомых идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов Галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. В таком примерно плане я принялся было излагать Майке свои соображения, но тут мы заметили, что в каюте, должно быть уже некоторое время, присутствует Вандерхузе. Он стоял, прислонившись к стене, теребил свои

рысьи бакенбарды и разглядывал нас с задумчиво-рассеянным верблюжьим выражением на физиономии. Я встал и пододвинул ему стул.

— Спасибо, — произнес Вандерхузе, — но я лучше постою.

— А что вы думаете по этому поводу? — спросила его Майка воинственно.

— По какому поводу?

— По поводу вертикального прогресса.

Вандерхузе некоторое время молчал, затем вздохнул и произнес:

— Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы.

Мы напряженно задумались. Потом Майка просияла, подняла палец и сказала:

— О!

— Это не я, — меланхолично возразил Вандерхузе. — Это очень старый афоризм. Мне он давно нравился, только все не было случая его привести. — Он помолчал минуту, потом сказал: — Насчет бортжурнала. Представляете себе, действительно, было такое правило.

— Какой бортжурнал? — спросила Майка. — При чем здесь бортжурнал?

— Комов попросил меня отыскать правила, предписывающие уничтожать бортжурналы, —

грустно объяснил Вандерхузе.

— Ну? — сказали мы одновременно.

Вандерхузе снова помолчал, потом махнул рукой.

— Срам, — сказал он. — Есть, оказывается, одно такое правило. Вернее, было. В старом «Своде инструкций». В новом — нет. Откуда мне было знать? Я же не историк.

Он надолго задумался. Майка нетерпеливо поерзала.

— Да, — сказал Вандерхузе. — Так вот, если ты потерпел крушение на неизвестной планете, населенной разумными существами — негуманоидами либо гуманоидами, но пребывающими в стадии ярко выраженной машинной цивилизации, — ты обязан уничтожить все космографические карты и бортовые журналы.

Мы с Майкой переглянулись.

— Этот бедняга, командир «Пеликана», — продолжал Вандерхузе, — наверное, здорово знал старинные законы. Ведь этому правилу, наверное, лет двести, его выдумали еще на заре звездоплавания, выдумали из головы, стараясь все предусмотреть. Но разве все предусмотришь? — Он вздохнул. — Конечно, можно было догадаться, почему с бортжурналом произошла

такая штука. Вот Комов и догадался… И вы знаете, как он реагировал на мое сообщение?

— Нет, — сказал я. — Как?

— Он кивнул и перешел к другим делам, — сказала Майка.

Вандерхузе посмотрел на нее с восхищением.

— Правильно! — сказал он. — Именно кивнул и именно перешел. Я бы на его месте целый день радовался, что я такой догадливый…

— Что же это, значит, получается? — сказала Майка. — Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации. Ничего не понимаю. Ты что-нибудь понимаешь? — спросила она меня.

Меня очень забавляет эта манера Майки с гордостью объявлять, что она ничего не понимает. Я и сам так поступаю частенько.

— Они подъехали к «Пеликану» на велосипедах, — сказал я.

Майка нетерпеливо отмахнулась.

— Машинной цивилизации здесь нет, — пробормотала она. — Негуманоидов здесь тоже нет…

Голос Комова по интеркому провозгласил:

— Вандерхузе, Глумова, Попов! Прошу явиться в рубку.

— Началось! — сказала Майка, вскакивая.

Мы гурьбой ввалились в рубку. Комов стоял у стола и вкладывал в пластиковый чехол портативный транслятор. Судя по положению переключателей, транслятор был подключен к бортовому вычислителю. Лицо у Комова было непривычно озабоченное, какое-то очень человечное, без этой своеобычной, оскомину набившей ледяной сосредоточенности.

— Сейчас я выхожу, — объявил он. — Первый сикурс. Яков, вы остаетесь за старшего. Главное: обеспечить непрерывное круговое наблюдение и бесперебойную работу бортового вычислителя. При появлении аборигенов немедленно известить меня. Рекомендую установить у обзорных экранов трехсменную вахту. Майя, ступайте к экранам прямо сейчас же. Стась, там мои радиограммы. Передайте их как можно быстрее. Я думаю, нет надобности объяснять, почему никто не должен выходить из корабля. Вот и все. Давайте за дело.

Я подсел к рации и принялся за дело. Комов и Вандерхузе о чем-то негромко говорили у меня за спиной. Майка на другом конце рубки настраивала экраны кругового обзора. Я перебрал радиограммы. Да, пока мы решали философские проблемы, Комова здесь здорово теребили. Почти

все его радиограммы были ответами. Иерархию срочности, за неимением специальных указаний, я устанавливал сам.

ЭР-2, КОМОВ — ЦЕНТР, ГОРБОВСКОМУ. БЛАГОДАРЮ ЗА ЛЮБЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВПРАВЕ ОТРЫВАТЬ ВАС ОТ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАНЯТИЙ, БУДУ ДЕРЖАТЬ ВАС В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ.

ЭР-2, КОМОВ — ЦЕНТР, БАДЕРУ. ОТ ПОСТА ГЛАВНОГО КСЕНОЛОГА ПРОЕКТА «КОВЧЕГ-2» ВЫНУЖДЕН ОТКАЗАТЬСЯ. РЕКОМЕНДУЮ АМИРЭДЖИБИ.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, СИДОРОВУ. УМОЛЯЮ, ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

ЭР-2, КОМОВ — ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР, ДОМБИНИ.
ПРИСУТСТВИЕ ЗДЕСЬ ВАШЕГО НАУЧНОГО КОММЕНТАТОРА СЧИТАЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ. ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОШУ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ.

И так далее, в том же духе. Штук пять радиограмм было в Центральный информаторий. Этих я не понял.

Работа моя была в самом разгаре, когда дешифратор снова заверещал.

— Откуда? — спросил меня Комов с другого конца рубки. Он стоял рядом с Майкой и осматривал окрестности.

— «Центр, исторический отдел…» — прочитал я.

— А, наконец-то! — сказал Комов и направился ко мне.

— «…проект «Ковчег», — читал я. — ЭР-2, Вандерхузе, Комову. Информация. Обнаруженный вами корабль регистрационный номер такой-то есть экспедиционный звездолет «Пилигрим». Приписан к порту Деймос, отбыл второго января сто сорок четвертого года в свободный поиск в зону «Ц». Последний отзыв получен шестого мая сто сорок восьмого года из области «Тень». Экипаж: Семенова Мария-Луиза и Семенов Александр Павлович. С двадцать первого апреля сто сорок седьмого года пассажир: Семенов Пьер Александрович. Архив «Пилигрима»…»

Там было еще что-то, но тут вдруг Комов засмеялся у меня за спиной, и я с изумлением обернулся к нему. Комов смеялся, Комов сиял.

— Так я и думал! — торжествующе сказал он, а мы все смотрели на него, разинув рты. — Так я и думал! Это человек! Вы понимаете, ребята? Это человек!

Глава пятая
ЛЮДИ И НЕЛЮДИ

— Стоять по местам! — весело скомандовал Комов, подхватил футляры с аппаратурой и удалился.

Я посмотрел на Майку. Майка стояла столбом посередине рубки с затуманенным взором и беззвучно шевелила губами — соображала.

Я посмотрел на Вандерхузе. Брови у Вандерхузе были высоко задраны, баки растопырились, впервые на моей памяти он был похож не на млекопитающее, а на черт-рыбу, вытащенную из воды. На обзорном экране Комов, обвешанный аппаратурой, бодро шагал к болоту вдоль строительной площадки.

— Так-так-так! — произнесла Майка. — Вот, значит, почему игрушки…

— Почему? — живо поинтересовался Вандерхузе.

— Он с ними играл, — объяснила Майка.

— Кто? — спросил Вандерхузе. — Комов?

— Нет. Семенов.

— Семенов? — удивленно переспросил Ван-

дерхузе. — Гм… Ну и что?

— Семенов-младший, — нетерпеливо сказал я. — Пассажир. Ребенок.

— Какой ребенок?

— Ребенок Семеновых! — сказала Майка. — Понимаете, зачем у них было это шьющее устройство? Чепчики всякие там, распашоночки, подгузнички…

— Подгузнички! — повторил пораженный Вандерхузе. — Так это у них родился ребенок! Да-да-да-да! Я еще удивился, где они подцепили пассажира, и вдобавок однофамильца! Мне и в голову… Ну конечно!

Запел радиовызов. Я машинально откликнулся. Это оказался Вадик. Говорил он торопливо и вполголоса — видно, боялся, что засекут…

— Что у вас там, Стась? Только быстро, мы сейчас снимаемся…

— Такое быстро не расскажешь, — сказал я недовольно.

— А ты в двух словах. Корабль Странников нашли?

— Каких Странников? — поразился я. — Где?

— Ну, этих… которых Горбовский ищет…

— Кто нашел?

— Вы нашли! Нашли ведь? — Голос его вдруг

изменился. — Проверяю настройку, — строго произнес он. — Выключаюсь.

— Что там нашли? — спросил Вандерхузе. — Какой еще корабль?

Я отмахнулся.

— Это так, любопытные… Значит, родился он в апреле сорок седьмого, а отозвались они в последний раз в мае сорок восьмого… Яков, как часто они должны были выходить на отзыв?

— Раз в месяц, — сказал Вандерхузе. — Если корабль находится в свободном поиске…

— Минуточку, — сказал я. — Май, июнь…

— Тринадцать месяцев, — сказала Майка.

Я не поверил и пересчитал сам.

— Да, — сказал я.

— Невероятно, правда?

— Что, собственно, невероятно? — осторожно спросил Вандерхузе.

— В день крушения, — сказала Майка, — младенцу был год и один месяц. Как же он выжил?

— Аборигены, — сказал я. — Семенов стер бортжурнал. Значит, кого-то увидел… И нечего было Комову на меня лаять! Это был настоящий детский плач! Что я, годовалых детей не слышал?.. Они все это записали, а когда он вырос, дали ему прослушать…

— Чтобы записать, нужно иметь технику, — сказала Майка.

— Ну, не записали, так запомнили, — сказал я. — Это неважно.

— Ага, — произнес Вандерхузе. — Он увидел либо негуманоидов, либо гуманоидов, но в стадии машинной цивилизации. И поэтому стер бортжурнал. По инструкции.

— На машинную цивилизацию не похоже, — сказала Майка.

— Значит, негуманоиды… — До меня вдруг дошло. — Ребята, — сказал я, — если здесь негуманоиды, то это такой случай, что я просто не знаю… Человек-посредник, понимаете? Он — и человек и нечеловек, гуманоид и негуманоид! Такого еще никогда не бывало. О таком даже мечтать никто не рискнул бы!

Я был в восторге. Майка тоже была в восторге. Перспективы ослепляли нас. Туманные, неясные, но ослепительно радужные. Дело было не только в том, что впервые в истории становился возможным уверенный контакт с негуманоидами. Человечество получало уникальнейшее зеркало, перед человечеством открывалась дверь в совершенно недоступный ранее, непостижимый мир принципиально иной психологии, и смутные ко-

мовские идеи вертикального прогресса обретали наконец экспериментальный фундамент…

— Чего ради негуманоиды станут возиться с человеческим ребенком? — задумчиво произнес Вандерхузе. — Зачем это им и что они в этом понимают?

Перспективы несколько потускнели, но Майка сейчас же сказала с вызовом:

— На Земле известны случаи, когда негуманоиды воспитывали человеческих детей.

— Так то на Земле! — сказал Вандерхузе грустно.

И он был прав. Все известные разумные негуманоиды отстояли от человека гораздо дальше, чем волки, медведи или даже осьминоги. Утверждал же такой серьезный специалист, как Крюгер, что разумные слизни Гарроты рассматривают человека со всей его техникой не как явление реального мира, а как плод своего невообразимого воображения…

— И тем не менее он уцелел и вырос! — сказала Майка.

И она тоже была права.

Я — человек по натуре скептический. Я не люблю зарываться и чрезмерно фантазировать. Не то что Майка. Но тут больше просто ничего

нельзя было предположить. Годовалый ребенок. Ледяная пустыня. Один. Ведь ясно же, что сам по себе он выжить не смог бы. Причем с другой стороны — стертый бортжурнал. Что тут еще можно придумать? Какие-нибудь пришельцы-гуманоиды случайно оказались поблизости, выкормили младенца, а потом улетели… Чепуха ведь…

— А может быть, он не выжил? — сказала Майка. — Может быть, все, что от него осталось, это его плач и голоса его родителей?

На секунду мне показалось, что все рухнуло. Вечно эта Майка что-нибудь выдумает. Но я тут же сообразил.

— А как он проходит в корабль? Как он командует моими киберами? Нет, ребята, либо мы встретили в космосе точную — понимаете? — точную, идеальную реплику человечества, либо это космический маугли. Не знаю, что более невероятно.

— И я не знаю, — сказала Майка.

— И я, — сказал Вандерхузе.

Из репродуктора раздался голос Комова:

— Внимание, на борту! Я вышел на позицию. Смотреть вокруг хорошенько. Мне отсюда видно не много. Радиограммы были?

Я заглянул в приемный карман.

— Целая пачка, — сказал я.

— Целая пачка, — сказал Вандерхузе в микрофон.

— Стась, мои радиограммы вы отправили?

— А… Еще не все, — сказал я, поспешно усаживаясь за рацию.

— Еще не все, — сообщил Вандерхузе в микрофон.

— Хлев на палубе! — объявил Комов. — Хватит философствовать, принимайтесь за дело. Майя, следите за экраном. Забудьте обо всем и следите за экраном. Попов, чтобы последняя моя радиограмма через десять минут была в эфире. Яков, зачитайте, что там пришло на мое имя…

Когда я закончил передачу и осмотрелся, все были заняты своими делами. Майка сидела за пультом обзора — на панорамном экране виднелся Комов, крошечная фигурка у самого берега; над болотом шевелился туман, и больше никакого движения на всех трехстах шестидесяти градусах в радиусе семи километров от корабля не было заметно. Комов сидел к нам спиной: очевидно, он ждал, что наш маугли появится из болота. Майка медленно поворачивала голову из стороны в сторону, озирая окрестности, и время от времени давала на какой-нибудь подозрительный участок

максимальное увеличение — тогда на экранах малых мониторов появлялся то поникший куст, то лиловая тень дюны на искрящемся песке, то неопределенное пятно в редкой щетине карликовых деревьев.

Вандерхузе монотонно бубнил в микрофон: «…варианты психотипа двоеточие шестнадцать эн дробь тридцать два дзета или шестнадцать эм… мама… дробь тридцать один эпсилон…» — «Достаточно, — говорил Комов. — Следующую». — «Земля Лондон Картрайт, уважаемый Геннадий, еще раз напоминаю о вашем обещании дать отзыв…» — «Достаточно. Следующую». — «Прессцентр…» — «Достаточно. Дальше. Яков, читайте только то, что из Центра или с базы». Пауза. Вандерхузе перебирает карточки. «Центр Бадер затребованная вами аппаратура нуль-транспортируется на базу вышлите ваши предварительные соображения по следующим пунктам первое другие вероятные зоны обитания аборигенов…» — «Достаточно. Дальше…»

Тут меня вызвала база. Сидоров спрашивал Комова.

— Комов на контакте, Михаил Альбертович, — сказал я виновато.

— Контакт начался?

— Нет еще. Ждем.

Сидоров кашлянул.

— Ну ладно, я соединюсь с ним попозже. Это не срочно. — Он помолчал. — Волнуетесь?

Я прислушался к своим ощущениям.

— Н-не то что волнуемся… Странно как-то. Как во сне. Как в сказке.

Сидоров вздохнул.

— Не буду мешать, — сказал он. — Желаю удачи.

Я поблагодарил. Затем я оперся локтем на пульт, положил подбородок на ладонь и снова прислушался к своим ощущениям. Да, странно как-то. Человек — нечеловек. Наверное, на самом деле его нельзя называть человеком. Человеческий детеныш, воспитанный волками, вырастает волком. Медведями — медведем. А если бы человеческого детеныша взялся воспитывать спрут? Не съел бы, а стал воспитывать… Дело даже не в этом. И волк, и медведь, и спрут — все они лишены разума. Во всяком случае, того, что ксенологи называют разумом. А вот если нашего маугли воспитали существа разумные, но в то же время в некотором смысле спруты?.. И даже еще более чужие, чем спруты… А ведь это они научили его выбрасывать защитные фантомы, научили ми-

микрии, — в человеческом организме нет ничего для таких штучек, значит это искусственное приспособление… Постой, а для чего ему мимикрия? От кого это он приучен защищаться? Планета-то ведь пуста! Значит, не пуста.

Я представил себе огромные пещеры, залитые призрачным лиловым светом, мрачные закоулки, в которых таится смертельная опасность, и маленького мальчика, который крадется вдоль липкой стены, готовый в любую секунду исчезнуть, раствориться в неверном сиянии, оставив врагу свою зыбкую, расплывающуюся тень. Бедный мальчуган. Его надо немедленно вывезти отсюда… Стоп-стоп-стоп! Это все чепуха. Это все не бывает. Не бывает так, чтобы существовала сложная, мудрая, многоопытная жизнь и не кишела бы вокруг нее жизнь попроще, поглупее. Сколько здесь обнаружили видов живых существ? Не то одиннадцать, не то двенадцать — и это во всем диапазоне от вируса до человеческого детеныша. Нет, так не бывает. Тут что-то не то. Ладно, скоро узнаем. Мальчуган нам все расскажет. А если не расскажет? Много ли человеческие волчата рассказали людям о волках? На что же рассчитывает Комов? Мне захотелось сейчас же, немедленно спросить у Комова, на что он рассчитывает.

Вандерхузе дочитал последнюю радиограмму, вытянулся в кресле, заложил руки за голову и произнес задумчиво:

— А ведь я знавал Семеновых. Должен вам сказать, очень были славные и в то же время очень странные люди. Романтики старины. Конечно, Шура знал все старинные законы, он их вечно цитировал. Нам они казались смешными и нелепыми, а он находил в них какую-то прелесть… Катастрофа, агония, страшные чудовища лезут в корабль… Уничтожить бортжурнал, стереть свой след в пространстве — ведь на том конце следа Земля! Да, это очень на него похоже. — Вандерхузе помолчал. — Между прочим, таких, кто ищет уединения, гораздо больше, чем мы с вами думаем. Ведь уединение — не такая уж плохая вещь, как вы полагаете?

— Не для меня, — коротко сказала Майка, не отрываясь от экрана.

— Это потому, что ты молода, — возразил Вандерхузе. — В твоем возрасте Шура Семенов тоже любил дружить со многими и чтобы многие дружили с ним. И чтобы работать вместе — большой шумной компанией. И чтобы устраивать мозговые атаки, и все время быть в веселом напряжении, и чтобы все время соревноваться,

все равно в чем — в прыжках ли с крыльями, в количестве острот на единицу времени, в знании наизусть каких-нибудь таблиц… во всем. А в промежутках во все горло распевать под нэкофон куплеты собственного сочинения. — Вандерхузе вздохнул. — Обычно это проходит с началом настоящей любви… Впрочем, об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что с тридцать четвертого года Шурик и Мари ушли в группу свободного поиска. С тех пор я их, собственно, ни разу не видел. Один раз говорил по видео… Я был тогда диспетчером, и Шура запрашивал у меня разрешение на выход с Пандоры. — Вандерхузе снова вздохнул. — Между прочим, у Шуры отец жив и сегодня, Павел Александрович. Надо будет обязательно к нему зайти, когда вернемся… — Он помолчал. — Если хотите знать, — объявил он, — я всегда был против свободного поиска. Архаизм. Бродят по космосу в одиночку, опасно, научный выход ничтожный, а иногда мешают… Помните историю с Каммерером? Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом, будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более

опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома… По-моему, Шурик и Мари так ничего и не нашли в космосе, во всяком случае, ничего такого, о чем стоило бы рассказать хотя бы за столом в кают-компании.

— Но зато они были счастливы, — сказала Майка, не оборачиваясь.

— Почему ты так думаешь?

— Иначе бы они вернулись! Зачем им было что-то искать, если они и без того были счастливы? — Майка сердито посмотрела на Вандерхузе. — Что вообще стоит искать, кроме счастья?

— Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, ничего и не ищет, — сказал Вандерхузе, — но я не подготовлен к такому глубокому спору, да и ты тоже, как ты полагаешь? Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья на негуманоидов…

— На борту! — раздался голос Комова. — Смотреть внимательно!

— Именно это я и хотел сказать, — проговорил Вандерхузе, и Майка снова отвернулась к экрану.

Теперь мы смотрели на экран все втроем. Солнце было совсем низко, оно висело над самыми вершинами, и на сопках уже лежали тени. Ярко

отсвечивала посадочная полоса, шапка пара над болотом казалась теперь тяжелой и неподвижной, а верхушка ее, через которую пробивался солнечный свет, сделалась пронзительно-фиолетовой. Все вокруг было очень неподвижно, даже Комов.

— Пять часов, — негромко сказал Вандерхузе. — Не пора ли нам обедать? Геннадий, как вы будете есть?

— Мне ничего не надо, — сказал Комов. — Я захватил с собой. А вы поешьте, потом может стать не до того.

Я поднялся.

— Пойду готовить. Какие заказы?

И тут Вандерхузе сказал:

— Вижу!

— Где? — сейчас же спросил Комов.

— Идет к нам по берегу, со стороны айсберга. Градусах в шестидесяти влево от вашего направления на корабль.

— Ага, — сказала Майка. — Я тоже вижу! Действительно, идет.

— Не вижу! — нетерпеливо сказал Комов. — Дайте координаты по дальномеру.

Вандерхузе сунул лицо в нарамник дальномера и продиктовал координаты. Теперь и я увидел:

вдоль самой кромки черной воды, не спеша, словно бы нехотя, брела к кораблю зеленоватая, странно скособоченная фигурка.

— Нет, не вижу, — сказал Комов с досадой. — Рассказывайте мне.

— Н-ну, значит, так… — начал Вандерхузе и откашлялся. — Идет медленно, смотрит на нас… В руках охапка каких-то прутьев… Остановился, поковырял ногой в песке… Бр-р-р, по такой холодине — нагишом… Пошел дальше… Смотрит в вашу сторону, Геннадий… Любопытно, анатомия у него не человеческая, точнее, не совсем человеческая… Вот опять остановился и все время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не видите, Геннадий? Он же прямо у вас на траверзе, к вам он сейчас ближе, чем к нам…

Пьер Александрович Семенов, космический маугли, приближался. Сейчас до него было метров двести, и, когда Майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Заходящее солнце как раз проглянуло в промежуток между двумя горными пиками, снова стало совсем светло, длинные тени протянулись вдоль пляжа.

Это был ребенок, мальчишка лет двенадцати, угловатый подросток, костлявый, длинноногий,

с острыми плечами и локтями, но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Уже лицо у него не было мальчишеское — с человеческими чертами, но совершенно неподвижное, окаменевшее, застывшее, как маска. Только глаза у него были живые, большие, темные, и он стрелял ими налево и направо, словно сквозь прорези в маске. Уши у него были большие, оттопыренные, правое заметно больше левого, а из-под левого уха тянулся по шее до ключицы темный неровный шрам — грубый, неправильно заживший рубец. Рыжеватые свалявшиеся волосы беспорядочными космами спадали на лоб и на плечи, торчали в разные стороны, лихим хохлом вздымались на макушке. Жуткое, неприятное лицо, и вдобавок — мертвенного, синевато-зеленого оттенка, лоснящееся, словно смазанное каким-то жиром. Впрочем, так же лоснилось и все его тело. Он был совершенно голый, и, когда он подошел к кораблю совсем близко и бросил на песок охапку сучьев, стало видно, какой он весь жилистый, без всяких следов этой трогательной детской незащищенности. Он был костлявый, да, но не тощий — удивительно, по-взрослому жилистый, не мускулистый, не атлет, а именно жилистый, и еще стали видны страшные рваные

шрамы — глубокий шрам на левом боку через ребра до самого бедра, отчего он и был таким скособоченным, и еще шрам на правой ноге, и глубокая вдавлина посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствие с собой.

Он был теперь шагах в двадцати, у самого края мертвого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног, а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль; он не мог, конечно, видеть объективов, но смотрел он, казалось, прямо нам в глаза. И поза у него была нечеловеческая. Не знаю, как это объяснить. Просто люди не стоят в такой позе. Никогда не стоят. Ни отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. Левая нога у него была отставлена чуть назад и слегка согнута в колене, но всем весом он опирался именно на нее. И вперед он выставил левое плечо. У человека, готовящегося метнуть диск, можно на мгновенье уловить подобную позу — долго так не простоишь, это неудобно, да и некрасиво, а он стоял, стоял несколько минут, а потом вдруг присел и стал перебирать свои прутья. Я сказал — присел, но это неправильно: он опустился на левую ногу, правую же, не сгибая, вытянул вперед — даже смотреть на него было

неудобно, особенно когда он принялся возиться с прутьями, помогая рукам правой ногой. Потом он поднял к нам лицо, протянул руки — в каждом кулаке по прутику — и тут началось такое, что я вообще не берусь описывать.

Могу только сказать: лицо его ожило, и не просто ожило — оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение, и каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична, однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк крошечных движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок, это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица, а затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться — с шорохом, с барабанной дробью, со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило

в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пение ушли из палочек в руки, из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучку прутьев и вдруг ушел в мертвое пространство.

— Почему вы молчите? — надрывался Комов. — Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему молчите?

Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе, лицом к кораблю, длинная тень тянулась по песку от его ног. Вандерхузе откашлялся и проговорил:

— Слышу.

— Что произошло?

Вандерхузе помедлил.

— Не берусь рассказать, — сказал он. — Может быть, вы, ребята?

— Он разговаривал! — произнесла Майка сдавленным голосом. — Это он разговаривал!..

— Слушайте, — сказал я. — А он не к люку пошел?

— Возможно, — сказал Вандерхузе. — Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку…

— Следите за люком, — быстро скомандовал Комов. — Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а

сами запритесь в рубке… — Он помолчал. — Жду вас через час, — проговорил он с какой-то новой интонацией, обычным спокойно-деловым тоном и словно бы отвернувшись от микрофона. — За час вы управитесь?

— Не понял, — сказал Вандерхузе.

— Запритесь! — раздраженно закричал Комов прямо в микрофон. — Понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль!

— Это я понял, — сказал Вандерхузе. — Где вы нас ждете через час?

Наступило молчание.

— Жду вас через час, — снова отвернувшись от микрофона, деловито повторил Комов. — За час вы управитесь?

— Где? — сказал Вандерхузе. — Где ждете?

— Яков, вы меня слышите? — громко спросил Комов с беспокойством.

— Слышу вас отлично, — произнес Вандерхузе и растерянно оглянулся на нас. — Вы сказали, что ждете нас через час. Где?

— Я не говорил… — начал Комов, но тут его прервал голос Вандерхузе, такой же глуховатый, словно в отдалении от микрофона:

— А не пора ли нам обедать? Стась там, наверное, соскучился, как ты полагаешь, Майка?

Майка нервно захихикала.

— Это же он… — проговорила она, тыча пальцем в экран. — Это же он… там…

— Что происходит, Яков? — гаркнул Комов.

Странный голос — я даже не сразу понял чей — произнес:

— Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу…

Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку.

— Ничего особенного, Геннадий, — произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб. — Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий.

— Вы его видите?

— Нет… Впрочем, вот он появился.

Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы услышали голос Майки:

— В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жиз-

ни совсем по-другому…

— Сейчас он говорит голосом Майки, — невозмутимо сообщил Вандерхузе. — А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?

Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый, — странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.

— Ага, вижу! — с удовлетворением сказал Комов. — Он стоит шагах в двадцати от корабля, так?

— Так, — сказал Вандерхузе.

— Не так, — сказал я.

Вандерхузе присмотрелся.

— Д-да, пожалуй, не так, — согласился он. — Это, пожалуй… Как вы это называете, Геннадий? Фантом?

— Стойте, — сказал Комов. — Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне.

— Ты видишь его? — спросила меня Майка.

— Нет, — ответил я. — Темно уже.

— Не в темноте дело, — возразила Майка.

Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране

различал и видел тающий фантом, и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше не видел.

Потом я увидел, что Комов сел.

— Подходит, — проговорил он вполголоса. — Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все.

— Доброй охоты, — сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: — Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари.

Майка судорожно зевнула и проговорила:

— Спать мне хочется, что ли? Или это от нервов?

— Между прочим, спать нам теперь придется мало, — заявил Вандерхузе. — Давайте сделаем так. Пусть Майка идет отдыхать. Я останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через четыре часа я его разбужу, как ты полагаешь, Стась?

Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая

зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он отказался под каким-то смехотворным предлогом — наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.

Некоторое время мы молчали. Спать совсем не хотелось. Я так и этак прикидывал, какими же должны быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий детеныш, воспитанный волком, бегает на четвереньках и рычит. Медвежий человек — тоже. Вообще воспитание полностью определяет модус вивенди любого существа. То есть не то чтобы полностью, но заметно определяет. Почему, собственно, наш маугли остался человеком прямостоящим? Это наводит на определенные размышления. Он ходит на ногах, он активно пользуется руками, это само по себе не есть что-то врожденное, это воспитывается. Он может говорить. Конечно, он не понимает, что он говорит, но видно, что та часть мозга, которая ведает речью, задействована у него великолепно… И ведь он запоминает все с одного раза! Странно, очень странно. Негуманоиды, о которых я знаю, были бы совершенно неспособны так воспитать

человеческого детеныша. Прокормить его, приручить — могли бы. Исследовать в своих странных лабораториях, похожих на гигантскую действующую модель кишечника, — тоже могли бы. Но увидеть в нем человека, идентифицировать в нем человека, сохранить в нем человека — вряд ли. Неужели это все-таки гуманоиды? Ничего не понимаю.

— Во всяком случае, — сказал вдруг Вандерхузе, — они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли жизнь нашему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека, ничего, может быть, не зная о руках и ногах. Как ты полагаешь, Стась?

Я неопределенно хмыкнул, и он замолчал.

В рубке было тихо. База нас не беспокоила, Комов тоже на связь не выходил; на темном экране вспыхивали, переливаясь, радужные полотнища сполохов, и в их призрачном свете был едва виден Комов, сидевший совершенно неподвижно, а мальчика я так и не сумел разглядеть ни разу. Но дело у них явно шло на лад, потому что большой бортовой вычислитель время от времени принимался тихонько чавкать и урчать, переваривая и организуя информацию, получаемую с транс-

лятора. Потом я задремал, и приснились мне, помнится, какие-то хмурые небритые осьминоги в синих спортивных костюмах и с зонтиками, они учили меня ходить, а мне было так смешно, что я все время падал, вызывая их крайнее неудовольствие. Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в сердце. Что-то произошло. Что-то тревожное.

Вандерхузе сидел, напряженно пригнувшись к экрану, вцепившись руками в подлокотники.

— Стась! — окликнул он негромко.

— Да?

— Посмотри на экран.

Я без того уже смотрел на экран, но не видел пока ничего особенного. Как и прежде, полыхали и переливались небесные огни, Комов сидел в прежней позе, далекий айсберг отсвечивал розовым и зеленым. Потом я увидел.

— Над горами? — шепотом спросил я.

— Да. Именно над горами.

— Что это такое?

— Не знаю.

— Давно?

— Не знаю. Я заметил эту штуку минуты две назад. Думал — смерч…

Я сначала тоже подумал, что это смерч. Над

бледной иззубренной линией хребта, на фоне радужных полотнищ поднималось что-то вроде длинного тонкого хлыста — черная кривая, словно царапина на экране. Этот хлыст едва заметно вибрировал, гнулся, иногда словно бы проседал и снова распрямлялся, и заметно было, что он не гладкий, а как бы суставчатый, похожий на ствол бамбука. Он торчал над хребтом, до которого было по крайней мере километров десять, словно кто-то высунул из-за вершин исполинское удилище. Он придавал знакомому пейзажу на экране нереальный вид декораций кукольного театра. Смотреть на это было как-то противоестественно и жутко-смешно, как если бы над вершинами появилась неправдоподобно громадная физиономия. В общем, это было что-то вне всяких масштабов, что-то невозможное, вне всяких представлений о пропорциях.

— Они? — спросил я шепотом.

— Невозможно, чтобы это было естественное… — проговорил Вандерхузе. — И невозможно, чтобы это было искусственное.

Я и сам чувствовал то же самое.

— Надо сообщить Комову, — сказал я.

— Комов отключился, — ответил Вандерхузе. Он наводил дальномер. — Расстояние не меня-

ется. Четырнадцать километров. И эта штука страшно вибрирует, вся трясется. Амплитуда не меньше сотни метров… Совершенно невозможная штука.

— Какая же у него высота? — пробормотал я.

— Около шестисот метров.

— Елки-палки, — сказал я.

Он вдруг вскочил и нажал сразу две клавиши: наружного аварийного радиовызова «Всем немедленно вернуться на борт» и внутреннего сигнала «Всем собраться в рубке». Потом он повернулся ко мне и непривычно отрывистым голосом скомандовал:

— Стась! Бегом на пост УАС. Приведи в готовность носовую ПМП. Сиди и жди. Без команды — ничего.

Я выскочил в коридор. Из-за дверей кают слышались приглушенные отрывистые звонки сигнала сбора. Навстречу мне мчалась Майка, на ходу натягивая куртку. Она была в туфлях на босу ногу.

— Что случилось? — сиплым со сна голосом спросила она еще издали.

Я махнул рукой и по трапу ссыпался вниз, в пост управления активными средствами. Меня слегка лихорадило, но в общем я был спокоен.

В известном смысле я был даже горд: ситуация складывалась редкостная. Настолько редкостная, что я был уверен: с момента первого старта этого корабля на пост УАС никто еще не заходил — разве что работники космодромов для профилактического осмотра автоматики.

Я повалился в кресло, врубил круговой экран, отключил автоматику ПМП и сразу же заблокировал кормовую установку, чтобы в суматохе не выпалить в надир. Затем я взялся за верньеры ручной наводки, и изображение на экране поползло через черное перекрестие перед моими глазами: прополз клыкастый айсберг, проползла туманная масса над болотами, прополз Комов — теперь он стоял, озаряемый сполохами, спиной к нам и глядел в сторону гор... Еще немного повыше. Вот он. Черный, дрожащий, нелепый, совершенно невозможный. А рядом — второй, он покороче, но растет на глазах, вытягивается, гнется... Елки-палки, да как же они это делают? Какие же это мощности нужны и что это за материал такой? Ну и зрелище!.. Теперь это было так, будто чудовищный таракан прячется за горами и высунул оттуда свои усы. Я прикинул телесный угол поражения и установил перекрестие таким образом, чтобы одним ударом поразить обе це-

ли. Теперь оставалось только толкнуть ногой педаль…

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе.

— Есть пост УАС! — отозвался я.

— Готовность!

— Есть готовность!

По-моему, это у нас очень лихо получилось. Как в кино.

— Обе цели видишь? — обыкновенным голосом спросил Вандерхузе.

— Да. Накрываю обе одним импульсом.

— Обрати внимание: сорок градусов к востоку — третья цель.

Я взглянул: действительно, еще один гигантский ус гнулся и трепетал в неверном свете сполохов. Это мне не понравилось. Успею или нет? Чего там, должен успеть… Я мысленно прорепетировал, как я выпускаю импульс, а затем двумя движениями разворачиваю пушку на третью цель. Ничего, успею.

— Вижу третью цель, — сказал я.

— Это хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но ты, однако, не горячись. Стрелять только по моей команде.

— Вас понял, — буркнул я.

Вот даст он по кораблю каким-нибудь… этим…

искривителем пространства каким-нибудь, дождешься тогда от тебя команды. Меня уже заметно трясло. Я стиснул руки, чтобы привести себя в порядок. Потом я посмотрел, как там Комов. Комов был ничего себе. Он снова сидел в прежней позе, повернувшись к гигантскому таракану боком. Я сразу успокоился, тем более что обнаружил наконец рядом с Комовым крошечную черную фигурку. Мне даже стало неловко.

Чего это я вдруг? Какие, собственно, основания для паники? Ну, выставил усы… Большие усы, не спорю, я бы даже сказал — сногсшибательной величины усы. Но, в конце концов, никакие это, вероятно, не усы, а что-нибудь вроде антенн. Может быть, они просто за нами наблюдают. Мы за ними, а они за нами. И даже, собственно, не за нами, наверное, а за своим воспитанником, за Пьером Александровичем Семеновым наблюдают — как, мол, он здесь, не обижают ли его…

Вообще, если подумать, противометеоритная пушка — страшная штука, не хотелось бы ее здесь применять. Одно дело — сровнять с грунтом какую-нибудь скалу, чтобы расчистить посадочную площадку, или, скажем, завалить ущелье, когда нужен пресный водоем, а другое дело — вот так, по живому… А вообще-то применялись когда-ни-

будь ПМП как средство обороны? Пожалуй, да. Во-первых, был случай, не помню где, грузовой автомат потерял управление и стал валиться прямо на лагерь, — пришлось его сжечь. А потом, помнится, разбирали такой инцидент: на какой-то биологически активной планете корабль-разведчик подвергся «направленному непреодолимому воздействию биосферы»… То есть подвергся он или нет — до сих пор неизвестно, но капитан решил, что подвергся, и ударил из носовой пушки. Выжег он вокруг себя все, до самого горизонта, так что потом при расследовании эксперты только руками разводили. Капитана, помнится, от полетов отстранили надолго… Да, что и говорить, страшное средство — ПМП. Последнее средство.

Чтобы отвлечься от всяких таких мыслей, я произвел замеры расстояний до целей и рассчитал их высоту и толщину. Расстояния оказались: четырнадцать, четырнадцать с половиной и шестнадцать километров. Высота — от пятисот до семисот метров, а толщина у них у всех была примерно одинаковая: у основания около пятидесяти метров, а на самом кончике уса — меньше метра. И все они действительно были суставчатыми, как бамбуковые стволы или катушечные антенны. И еще мне показалось, что я различаю на их поверх-

ности какое-то движение, направленное снизу вверх, этакую перистальтику, но, может быть, это была только игра света. Я попытался прикинуть свойства материала, из которого могут состоять такие вот образования, — получалась какая-то чепуха. Да, пощупать бы их локатором-пробником, но нельзя, конечно. Неизвестно, как они к этому отнесутся. Да и не это главное. Главное — это то, что цивилизация здесь, пожалуй, технологическая. Высокоразвитая цивилизация. Что и требовалось доказать. Непонятно только, чего это они зарылись под землю, почему оставили свою родную планету во власти пустоты и тишины. Впрочем, если подумать, у каждой цивилизации свои представления о благоустроенности. Например, на Тагоре…

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе над самым ухом, так что я вздрогнул. — Как видишь цели?

— Вижу цели… — откликнулся я машинально, но тут же осекся: усов над горами не было. — Нет целей, — упавшим голосом сказал я.

— Спишь на посту!

— Ничего не сплю… Только что были, своими глазами видел…

— И что ты видел своими глазами? — осведомился Вандерхузе.

— Цели. Три цели.

— А потом?

— А теперь их нет.

— Гм… — сказал Вандерхузе. — Странно это как-то произошло, как ты полагаешь?

— Да, — сочувственно сказал я. — Очень странно. Были — и вдруг нет.

— Комов возвращается, — сообщил Вандерхузе. — Может быть, он что-нибудь понимает?..

Действительно, Комов, обвешанный футлярами, неловкой походкой — очевидно, у него затекли ноги — возвращался к кораблю. Время от времени он оборачивался — надо полагать, прощался с Пьером Александровичем, но самого Пьера Александровича видно не было.

— Отбой, — сказал Вандерхузе. — Оставь все как есть и беги на камбуз, приготовь что-нибудь горячее и подкрепляющее. Геннадий, наверное, замерз как сосулька. Впрочем, голос у него довольный, как ты полагаешь, Майка?

Я мигом очутился на кухне и принялся торопливо готовить глинтвейн, кофе и легкую закуску. Я очень боялся пропустить хоть слово из того, что будет рассказывать Комов. Но когда я бегом прикатил столик в рубку, Комов еще ничего не рассказывал. Он стоял перед столом, растирая

замерзшую щеку, на столе была расстелена самая большая и подробная карта нашего района, и Майка пальцем показывала ему те места, откуда высовывались давешние усы-антенны.

— Здесь ничего нет! — возбужденно говорила Майка. — Здесь мерзлые скалы, каньоны в сто метров глубиной, вулканические пропасти — и ничего живого. Я пролетала здесь десятки раз. Тут даже кустарника нет.

Комов рассеянно-благодарно кивнул мне, взял в обе руки чашу с глинтвейном, погрузил в нее лицо и стал шумно прихлебывать, покряхтывая, обжигаясь и с наслаждением отдуваясь.

— И грунт здесь хрупкий, — продолжала Майка, — он бы не выдержал таких сооружений. Это же десятки, а может быть, и сотни тысяч тонн!

— Да, — произнес Комов и со стуком поставил пустую чашу на стол. — Что и говорить, странно. — Он сильно потер ладони. — Замерз как собака, — сообщил он. Это был опять совсем другой Комов — румяный, красноносый, доброжелательный, с блестящими веселыми глазами. — Странно, странно, ребята. Но это еще не самое странное — мало ли странного бывает на чужих планетах. — Он повалился в кресло и вытянул ноги. — Сегодня меня, знаете ли, трудно

удивить. За эти четыре часа я наслышался такого… Кое-что нуждается, конечно, в проверке. Но вот вам два фундаментальных факта, которые, так сказать, уже теперь лежат на поверхности. Во-первых, Малыш… его зовут Малыш… уже научился бегло говорить и понимать практически все, что говорят ему. Это мальчишка, который за всю свою сознательную жизнь ни разу не общался с людьми!

— Что значит — бегло? — недоверчиво спросила Майка. — После четырех часов обучения — бегло?

— Да, после четырех часов обучения — бегло! — торжествующе подтвердил Комов. — Но это во-первых. А во-вторых, Малыш пребывает в совершенной убежденности, что он — единственный обитатель этой планеты.

Мы не поняли.

— Почему же единственный? — спросил я. — Какой же он единственный?

— Малыш совершенно убежден, — с ударением произнес Комов, — что кроме него на этой планете нет ни одного разумного аборигена.

Воцарилось молчание. Комов поднялся.

— У нас много работы, — сказал он. — Завтра утром Малыш намерен нанести нам официаль-

ный визит.

Глава шестая
НЕЛЮДИ И ВОПРОСЫ

Мы проработали всю ночь. В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций. Мы с Вандерхузе собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью, но кое-какие физиологические параметры он мерил более или менее удовлетворительно, а что касается индикатора, то фиксировал он у нас только три основные позиции: ярко выраженные отрицательные эмоции (красная лампочка на пульте), ярко выраженные положительные эмоции (зеленая лампочка) и вся остальная эмоциональная гамма (белая лампочка). А что было делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный диагностер, но было совершенно ясно, что Малыш не согласится так, ни с того ни с сего, укладываться в матово-белый саркофаг с массивной герметической крышкой. В общем, к девяти часам мы кое-как управились, и тут во весь рост встала проблема дежурства на посту УАС.

Вандерхузе как капитан корабля, отвечающий за безопасность, неприкосновенность и все такое прочее, категорически отказался отменить это дежурство. Майка, просидевшая на посту вторую половину ночи, естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то присутствовать при официальном визите будет непременно. Однако она была горько разочарована. Выяснилось, что квалифицированно работать на диагностере может только Вандерхузе. Выяснилось дальше, что поддерживать в рабочем состоянии диагностер, в любую минуту рискующий потерять настройку, могу только я. И наконец, выяснилось, что Комов по каким-то своим высшим ксенопсихологическим соображениям считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с Малышом. Короче говоря, бледная от бешенства Майка снова отправилась на пост, причем сохранивший полное хладнокровие Вандерхузе не преминул проводить ее приемным раструбом диагностера, так что все желающие могли убедиться: индикатор эмоций действует — красная лампочка горела до тех пор, пока Майка не скрылась в коридоре. Впрочем, на посту УАС можно было слышать, что говорится в кают-компании, через интерком с усилителем.

В девять пятнадцать по бортовому времени Комов вышел на середину кают-компании и огляделся. Все было готово. Диагностер был настроен и включен, на столе красовались блюда со сластями, освещение было отрегулировано под местный дневной свет. Комов коротко повторил инструкцию по поведению при контакте, включил регистрирующую аппаратуру и пригласил нас по местам. Мы с Комовым уселись за стол напротив двери, Вандерхузе втиснулся за панель диагностера, и мы стали ждать.

Он явился в девять сорок по бортовому времени.

Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он стоял так, разглядывая нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Тишина была такая, что я слышал его дыхание — мерное, мощное, свободное, словно работал хорошо отлаженный механизм. Вблизи и при ярком свете он производил еще более странное впечатление. Все в нем было странным: и поза — по-человечески совершенно неестественная и вместе с тем непринужденная, и блестящая, словно лаком покрытая зеленовато-голубая кожа, и неприятная диспропорция в расположении

мышц и сухожилий, и необычайно мощные коленные узлы, и удивительно узкие и длинные ступни ног. И то, что он оказался не таким уж маленьким — ростом с Майку. И то, что на пальцах левой руки у него не было ногтей. И то, что в правом кулаке он сжимал горсть свежих листьев.

Взгляд его остановился наконец на Вандерхузе. Он смотрел на Вандерхузе так долго и так пристально, что мне пришла в голову дикая мысль: уж не догадывается ли Малыш о назначении диагностера, — а наш бравый капитан в конце концов с некоторой нервностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и, вопреки инструкции, слегка поклонился.

— Феноменально! — громко и отчетливо произнес Малыш голосом Вандерхузе. На индикаторе затлела зеленая лампочка.

Капитан снова нервно взбил бакенбарды и искательно улыбнулся. И тотчас же лицо Малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у Вандерхузе выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут Малыш отлепился наконец от косяка, скользнул вдоль стены и остановился возле экрана видеофона.

— Что это? — спросил он.

— Видеофон, — ответил Комов.

— Да, — сказал Малыш. — Все движется, и ничего нет. Изображения.

— Вот еда, — сообщил Комов. — Хочешь поесть?

— Еда — отдельно? — непонятно спросил Малыш и приблизился к столу. — Это еда? Не похоже. Шарада.

— Не похоже на что?

— Не похоже на еду.

— Все-таки попробуй, — посоветовал Комов, придвигая к нему блюдо с меренгами.

Тогда Малыш вдруг упал на колени, протянул вперед руки и открыл рот. Мы молчали, опешив. Малыш тоже не двигался. Глаза его были закрыты. Это длилось всего несколько секунд, затем он вдруг мягко повалился на спину, сел и резким движением разбросал на полу перед собою смятые листья. По лицу его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и какими-то очень точными касаниями пальцев он принялся передвигать листики, время от времени помогая себе ногой. Мы с Комовым, привстав с кресел и вытянув шеи, следили за ним. Листья словно сами собой укладывались в странный узор,

несомненно правильный, но не вызывающий решительно никаких ассоциаций. На мгновение Малыш застыл в неподвижности — и вдруг снова одним резким движением сгреб листья в кучку. Лицо его замерло.

— Я понимаю, — объявил он, — это — ваша еда. Я так не ем.

— Смотри, как надо, — сказал Комов.

Он протянул руку, взял меренгу, нарочито медленным движением поднес ее ко рту, откусил осторожно и принялся демонстративно жевать. По мертвенному лицу Малыша пробежала судорога.

— Нельзя! — почти крикнул он. — Ничего нельзя брать руками в рот. Будет плохо!

— А ты попробуй, — снова предложил Комов, взглянул в сторону диагностера и осекся. — Ты прав. Не надо. Что будем делать?

Малыш присел на левую пятку и сочным баритоном произнес:

— Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова: когда вы отсюда уходите?

— Сейчас объяснить трудно, — мягко ответил Комов. — Нам очень, очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты

захочешь.

— Ты знаешь обо мне все, — объявил Малыш голосом Комова. — Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все.

У меня глаза на лоб полезли, а Комов как будто даже и не удивился.

— Почему ты думаешь, что я все это знаю? — спросил он спокойно.

— Я размышлял. Я понял.

— Это феноменально, — спокойно сказал Комов, — но это не совсем верно. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня.

— Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все? Это так?

— Да, если ты захочешь.

— Тогда спрашивай, — сказал Малыш. — Спрашивай быстро, потому что я тоже хочу тебя спросить.

Я взглянул на индикатор. Просто так взглянул. И мне стало не по себе. Только что там был нейтральный белый свет, а сейчас ярким рубиновым огнем горел сигнал отрицательных эмоций. Я мельком заметил, что лицо у Вандерхузе встревожено.

— Сначала расскажи мне, — произнес Комов, —

почему ты так долго прятался?

— Курвиспат, — отчетливо выговорил Малыш и пересел на правую пятку. — Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел: люди пришли. Я стал размышлять и понял — если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут, но я не знал — когда. Людей четыре. Очень много. Даже один очень много. Но лучше, чем четыре. Я входил к одному и разговаривал днем. Я входил к одному и разговаривал ночью. Шарада. Тогда я подумал: один человек говорить не может. Я пришел к четверым. Было очень весело, мы играли с изображениями, мы бежали, как волна. Опять шарада. Вечером я увидел: один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял: ты ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот! Вот как было.

Он говорил резко и отрывисто, голосом Комова, и только внесмысловые слова он произносил этим сочным незнакомым баритоном. Руки, пальцы его ни на секунду не оставались в покое, и сам он все время двигался, и движения его были стремительны и неуловимо плавны, он словно переливался из одной позы в другую. Фантастическое это было зрелище: привычные стены кают-компании, ванильный запах от пирожных,

все такое домашнее, обычное — только странный лиловатый свет и в этом свете на полу гибкое, плавное и стремительное маленькое чудище. И тревожный рубиновый огонек на пульте.

— Откуда ты знал, что люди придут снова? — спросил Комов.

— Я размышлял и понял.

— А может быть, кто-нибудь рассказал тебе?

— Кто? Камни? Солнце? Кусты? Я один. Я и мои изображения. Но они молчат. С ними можно только играть. Нет. Люди пришли и ушли. — Он быстрым движением передвинул несколько листочков на полу. — Я подумал и понял: они придут снова.

— А почему тебе было плохо?

— Потому что люди.

— Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Я знаю, — сказал Малыш. — Я ведь уже говорил: люди уйдут, и будет хорошо.

— От каких действий людей тебе плохо?

— От всех. Они есть или они могут прийти — это плохо. Они уйдут навсегда — это хорошо.

Красный огонек на пульте буравил мне душу. Я не удержался и тихонько толкнул Комова ногой под столом.

— Откуда ты узнал, что если людям сказать, то они уйдут? — спросил Комов, не обратив на меня внимания.

— Я знал: люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Но как ты это узнал? Ты же никогда не общался с людьми.

— Я много размышлял. Долго не понимал. Потом понял.

— Когда понял? Давно?

— Нет, недавно. Когда ты ушел от озера, я поймал рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерла. Я стал размышлять и понял, что вы обязательно уйдете, если вам сказать.

Комов покусал нижнюю губу.

— Я заснул на берегу океана, — сказал он вдруг. — Когда я проснулся, то увидел: на мокром песке возле меня — следы человеческих ног. Я поразмыслил и понял: пока я спал, мимо меня прошел человек. Откуда я это узнал? Ведь я не видел человека, я увидел только следы. Я размышлял: раньше следов не было; теперь следы есть; значит они появились, пока я спал. Это человеческие следы — не следы волн, не следы камня, который скатился с горы. Значит, мимо меня прошел человек. Пока я спал, мимо меня

прошел человек. Так размышляем мы. А как размышляешь ты? Вот прилетели люди. Ты ничего о них не знаешь. Но ты поразмыслил и узнал, что они обязательно улетят навсегда, если ты поговоришь с ними. Как ты размышлял?

Малыш долго молчал — минуты три. На лице и на груди его вновь начался танец мускулов. Проворные пальцы двигали и перемещали листья. Потом он отпихнул листья ногой и сказал громким сочным баритоном:

— Это вопрос. По бим-бом-брамселям!

Вандерхузе затравленно кашлянул в своем углу, и Малыш сейчас же поглядел на него.

— Феноменально! — воскликнул он все тем же баритоном. — Я всегда хотел узнать: почему длинные волосы на щеках?

Воцарилось молчание. И вдруг я увидел, как рубиновый огонек погас и разгорелся изумрудный.

— Ответьте ему, Яков, — спокойно попросил Комов.

— Гм… — сказал Вандерхузе, порозовев. — Как тебе сказать, мой мальчик… — Он машинально взбил бакенбарды. — Это красиво, это мне нравится… По-моему, это достаточное объяснение, как ты полагаешь?

— Красиво… нравится… — повторил Малыш. —

Колокольчик! — сказал он вдруг нежно. — Нет, ты не объяснил. Но так бывает. Почему только на щеках? Почему нет на носу?

— А на носу некрасиво, — наставительно сказал Вандерхузе. — И в рот попадают, когда ешь…

— Правильно, — согласился Малыш. — Но если на щеках и если идешь через кусты, то должен цепляться. Я всегда цепляюсь волосами, хотя они у меня наверху.

— Гм, — сказал Вандерхузе. — Видишь ли, я редко хожу через кусты.

— Не ходи через кусты, — сказал Малыш. — Будет больно. Сверчок на печи!

Вандерхузе не нашелся, что ответить, но по всему видно было, что он доволен. На индикаторе горел изумрудный огонек, Малыш явно забыл о своих заботах, и наш бравый капитан, очень любивший детей, несомненно испытывал определенное умиление. К тому же ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в ходе контакта. Но тут наступила моя очередь. Малыш неожиданно глянул мне в глаза и выпалил:

— А ты?

— Что — я? — спросил я, растерявшись, а пото-

му агрессивно.

Комов немедленно и с явным удовольствием пнул меня в лодыжку.

— У меня вопрос к тебе, — объявил Малыш. — Тоже всегда. Но ты боялся. Один раз чуть меня не погубил — зашипел, заревел, ударил меня воздухом. Я бежал до самых сопок. То большое, теплое, с огоньками, делает ровную землю — что это?

— Машины, — сказал я и откашлялся. — Киберы.

— Киберы, — повторил Малыш. — Живые?

— Нет, — сказал я. — Это машины. Мы их сделали.

— Сделали? Такое большое? И двигается? Феноменально. Но ведь они большие!

— Бывают и больше, — сказал я.

— Еще больше?

— Гораздо больше, — сказал Комов. — Больше, чем айсберг.

— И они тоже двигаются?

— Нет, — сказал Комов. — Но они размышляют.

И Комов принялся рассказывать, что такое кибернетические машины. Мне было очень трудно судить о душевных движениях Малыша. Если исходить из предположения, что душевные

движения его так или иначе выражались движениями телесными, можно было считать, что Малыш сражен наповал. Он метался по каюткомпании, словно кот Тома Сойера, хлебнувший болеутолителя. Когда Комов объяснил ему, почему моих киберов нельзя считать ни живыми, ни мертвыми, он вскарабкался на потолок и бессильно повис там, прилипнув к пластику ладонями и ступнями. Сообщение о машинах, гигантских машинах, которые размышляют быстрее, чем люди, считают быстрее, чем люди, отвечают на вопросы в миллион раз быстрее, чем люди, скрутило Малыша в колобок, развернуло, выбросило в коридор и через секунду снова швырнуло к нашим ногам, шумно дышащего, с огромными потемневшими глазами, отчаянно гримасничающего. Никогда раньше и никогда после не приходилось мне встречать такого благодарного слушателя. Изумрудная лампа на пульте индикатора сияла, как кошачий глаз, а Комов говорил и говорил, точными, ясными, предельно простыми фразами, ровным, размеренным голосом и время от времени вставлял интригующие: «Подробнее об этом мы поговорим позже» или: «Это на самом деле гораздо сложнее и интереснее, но ведь ты пока еще не знаешь, что такое гемостатика».

Едва Комов закончил, Малыш вскочил на кресло, обхватил себя своими длинными жилистыми руками и спросил:

— А можно сделать так, чтобы я говорил, а киберы слушали?

— Ты это уже делал, — сказал я.

Он бесшумно, как тень, упал на руки на стол передо мной.

— Когда?

— Ты прыгал перед ними, и самый большой — его зовут Том — останавливался и спрашивал тебя, какие будут приказания.

— Почему я не слышал вопроса?

— Ты видел вопрос. Помнишь, там мигал красный огонек? Это был вопрос. Том задавал его по-своему.

Малыш перелился на пол.

— Феноменально! — тихо-тихо сказал он моим голосом. — Это игра. Феноменальная игра. Щелкунчик!

— Что значит «щелкунчик»? — спросил вдруг Комов.

— Не знаю, — сказал Малыш нетерпеливо. — Просто слово. Приятно выговаривать. Ч-чеширский кот. Щ-щелкунчик.

— А откуда ты знаешь эти слова?

— Помню. Два больших ласковых человека. Гораздо больше, чем вы… По бим-бом-брамселям! Щелкунчик… С-сверчок на печи. Мар-ри, Мар-ри! Сверчок кушать хоч-чет!

Честно говоря, у меня мороз пошел по коже, а Вандерхузе побледнел, и бакенбарды его обвисли. Малыш выкрикивал слова сочным баритоном: закрыть глаза — так и видишь перед собой огромного, полного крови и радости жизни человека, бесстрашного, сильного, доброго… Потом в интонации его что-то изменилось, и он тихонько пророкотал с неизъяснимой нежностью:

— Кошенька моя, ласонька… — И вдруг ласковым женским голосом: — Колокольчик!.. Опять мокренький…

Он замолчал, постукивая себя пальцем по носу.

— И ты все это помнишь? — слегка изменившимся голосом произнес Комов.

— Конечно, — сказал Малыш голосом Комова, — а ты разве не помнишь все?

— Нет, — сказал Комов.

— Это потому, что ты размышляешь не так, как я, — уверенно сказал Малыш. — Я помню все. Все, что было вокруг меня когда-нибудь, я уже не забуду. А когда забываю, надо только поразмыс-

лить хорошенько, и все вспоминается. Если тебе интересно обо мне, я потом расскажу. А сейчас ответь мне: что вверху? Ты вчера сказал: звезды. Что такое звезды? Сверху падает вода. Иногда я не хочу, а она падает. Откуда она? И откуда корабли? Очень много вопросов, я очень много размышлял. Так много ответов, что ничего не понимаю. Нет, не так. Много разных ответов, и все они спутаны друг с другом, как листья… — Он сбил листья на полу в беспорядочную кучку. — Закрывают друг друга, мешают друг другу. Ты ответишь?

Комов принялся рассказывать, и Малыш опять заметался, трепеща от возбуждения. У меня зарябило в глазах, я зажмурился и стал думать, как же это аборигены не объяснили Малышу таких простых вещей; и как это они исхитрились так его одурачить, что он даже не подозревает об их существовании; и как это Малыш умудряется помнить так точно все, что слышал в младенчестве; и как это, в сущности, страшно — особенно то, что он ничего не понимает из запомненного.

Тут Комов вдруг замолчал, в нос мне ударил резкий запах нашатырного спирта, и я открыл глаза. Малыша в кают-компании не было, только слабый, совсем прозрачный фантом быстро таял над горстью рассыпанных листьев. В отдалении

слабо чмокнула перепонка люка. Голос Майки обеспокоенно осведомился по интеркому:

— Куда это он так почесал? Что-нибудь случилось?

Я взглянул на Комова. Комов с шелестом потирал руки, задумчиво улыбаясь.

— Да, — проговорил он. — Любопытная картина получается… Майя! — позвал он. — Усы эти появлялись?

— Восемь штук, — сказала Майка. — Только сейчас пропали, а то торчали вдоль всего хребта… Причем, цветные — желтые, зеленые… Я сделала несколько снимков.

— Молодец, — похвалил Комов. — Теперь имейте в виду, Майя, при следующей встрече обязательно будете присутствовать вы… Яков, забирайте регистрограммы, пойдемте ко мне. А вы, Стась… — Он встал и направился в угол, где был установлен блок видеофонографов. — Вот вам кассета, Стась, передайте все в экстренных импульсах прямо в Центр. Дубль я возьму себе, надо проанализировать… Где я тут видел проектор? А, вот он. Я думаю, в нашем распоряжении еще часа три-четыре, потом он снова придет… Да, Стась! Поглядите заодно радиограммы. Если есть что-нибудь стоящее… Только из Центра, с базы

или лично от Горбовского, или от Мбоги.

— Вы меня просили напомнить, — сказал я, поднимаясь. — Вам еще надо поговорить с Михаилом Альбертовичем.

— Ах, да! — Лицо Комова стало виноватым. — Знаете, Стась, это не совсем законно... Окажите любезность, выдайте запись сразу по двум каналам: не только в Центр, но и на базу, лично и конфиденциально Сидорову. Под мою ответственность.

— Я и под свою могу, — проворчал я уже за дверью.

Придя в рубку, я вставил кассету в автомат, включил передачу и просмотрел радиограммы. На этот раз их было немного — всего три; видимо, Центр принял меры. Одна радиограмма была из информатория и состояла из цифр, букв греческого алфавита и значков, которые я видел, только когда регулировал печатающее устройство. Вторая радиограмма была из Центра: Бадер продолжал настойчиво требовать предварительных соображений относительно других вероятных зон обитания аборигенов, возможных типов предстоящего контакта по классификации Бюлова и тому подобное. Третья радиограмма была с базы, от Сидорова: Сидоров официально

запрашивал Комова о порядке доставки заказанного оборудования в зону контакта. Я пораскинул умом и решил, что первая радиограмма Комову может понадобиться; третью не передать неудобно перед Михаилом Альбертовичем; а что касается Бадера — пусть пока полежит. Какие там еще предварительные соображения.

Через полчаса транслирующий автомат просигналил, что передача закончена. Я вынул кассету, забрал две карточки с радиограммами и отправился к Комову. Когда я вошел, Комов и Вандерхузе сидели перед проектором. По экрану взад и вперед молнией проносился Малыш, виднелись наши с Комовым напряженные физиономии. Вандерхузе сидел, весь подавшись к экрану, поставив локти на стол и захватив бакенбарды в сжатые кулаки.

— …резкое повышение температуры, — бубнил он. — Доходит до сорока трех градусов… И теперь обратите внимание на энцефалограмму, Геннадий… Вот она, волна Петерса, снова появляется…

На столе перед ними были расстелены рулоны регистрограмм нашего диагностера, множество рулонов валялось на полу и на койке.

— Ага… — задумчиво говорил Комов, ведя пальцем по регистрограмме. — Ага… Минуточку, а

здесь у нас что было? — Он остановил проектор, повернулся, чтобы взять один из рулонов, и заметил меня. — Да? — сказал он с неудовольствием.

Я положил перед ним радиограммы.

— Что это? — спросил он нетерпеливо. — А… — Он пробежал радиограмму из информатория, усмехнулся и отбросил ее в сторону. — Все не то, — сказал он. — Впрочем, откуда им знать… — Потом он проглядел радиограмму Сидорова и поднял глаза на меня. — Вы отправили ему?..

— Да, — сказал я.

— Хорошо, спасибо. Составьте от моего имени радиограмму, что оборудование пока не нужно. Вплоть до нового запроса.

— Хорошо, — сказал я и вышел.

Я составил и отправил радиограмму на базу и решил посмотреть, как там Майка. Мрачная Майка старательно крутила верньеры. Насколько я понял, она тренировалась в наведении пушки на далеко разнесенные цели.

— Безнадежное дело, — объявила она, заметив меня. — Если все они одновременно в нас плюнут, нам каюк. Просто не успеть.

— Во-первых, можно увеличить телесный угол поражения, — сказал я, подходя. — Эффективность, конечно, уменьшится порядка на три,

на четыре, но зато можно охватить четверть горизонта, расстояния здесь небольшие… А во-вторых, ты действительно веришь, что в нас могут плюнуть?

— А ты?

— Да непохоже что-то…

— А если непохоже, то чего ради я здесь сижу?

Я опустился на пол возле ее кресла.

— Честно говоря, не знаю, — сказал я. — Все равно надо вести наблюдение. Раз уж планета оказалась биологически активной, надо выполнять инструкцию. Сторожа-разведчика ведь не разрешают выпускать…

Мы помолчали.

— Тебе его жалко? — спросила вдруг Майка.

— Н-не знаю, — сказал я. — Почему жалко? Я бы сказал — жутко. А жалеть… Почему, собственно, я должен его жалеть? Он бодрый, живой… Совсем не жалкий.

— Я не об этом. Не знаю, как это сформулировать… Вот я слушала, и мне тошно делалось, как Комов себя с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на мальчишку…

— Что значит — наплевать? Комову надо установить контакт. Он проводит определенную стратегию… Ты ведь понимаешь, что без Малыша

в контакт нам не вступить…

— Понимаю. От этого меня, наверное, и тошнит. Малыш-то ничего не знает об аборигенах… Слепое орудие!

— Ну, не знаю, — сказал я. — По-моему, ты здесь впадаешь в сентиментальность. Он ведь все-таки не человек. Он абориген. Мы налаживаем с ним контакт. Для этого надо преодолеть какие-то препятствия, разгадать какие-то загадки… Трезво надо к этому относиться, по-деловому. Чувства здесь ни при чем. Он ведь к нам тоже, прямо скажем, любви не испытывает. И испытывать не может. В конце концов, что такое контакт? Столкновение двух стратегий.

— Ох, — сказала Майка. — Скучно ты говоришь. Суконно. Тебе только программы составлять. Кибертехник.

Я не обиделся. Я видел, что Майке нечего возразить по существу, и я чувствовал, что ее действительно что-то мучает.

— Опять у тебя предчувствия, — сказал я. — Но ведь на самом-то деле ты и сама прекрасно понимаешь, что Малыш — это единственная ниточка, которая связывает нас с этими невидимками. Если мы Малышу не понравимся, если мы его не завоюем…

— Вот-вот, — прервала меня Майка. — В том-то и дело. Что бы Комов ни говорил, как бы он ни поступал, сразу чувствуется: его интересует только одно — контакт. Все для великой идеи вертикального прогресса!

— А как надо? — спросил я.

Она дернула плечом.

— Не знаю. Может быть, как Яков… Во всяком случае, он — единственный из вас — говорил с Малышом по-человечески.

— Ну, знаешь, — сказал я, несколько обидевшись, — контакт на бакенбардном уровне — тоже, в общем…

Мы помолчали, дуясь друг на друга. Майка с преувеличенным старанием крутила верньеры, нацеливая черное перекрестие на заснеженные зубцы хребта.

— В самом деле, Майка, — сказал я наконец, — ты что, не хочешь, чтобы контакт состоялся?

— Да хочу, наверное, — сказала Майка без всякого энтузиазма. — Ты же видел, я очень обрадовалась, когда мы впервые поняли, что к чему… Но вот прослушала я эту вашу беседу… Не знаю. Может быть, это потому, что я никогда не участвовала в контактах… Я все не так себе представляла.

— Нет, — сказал я, — здесь дело не в этом. Я догадываюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь, что он — человек…

— Ты уже говорил это, — сказала Майка.

— Нет, ты дослушай. Тебе все время бросается в глаза человеческое. А ты подойди к этому с другой стороны. Не будем говорить про фантомы, про мимикрию — что у него вообще наше? В какой-то степени общий облик, прямохождение. Ну, голосовые связки… Что еще? У него даже мускулатура не наша, а уж это, казалось бы, прямо из генов… Тебя просто сбивает с толку, что он умеет говорить. Действительно, он великолепно говорит… Но и это ведь, в конце концов, не наше! Никакой человек не способен научиться бегло говорить за четыре часа. И тут дело даже не в запасе слов — надо освоить интонации, фразеологию… Оборотень это, если хочешь знать! А не человек. Мастерская подделка. Подумай только: помнить, что было с тобой в грудном возрасте, а может быть — как знать! — и в утробе матери… Разве это человеческое?.. Вот ты видела когда-нибудь роботов-андроидов? Не видела, конечно, а я видел.

— Ну и что? — мрачно спросила Майка.

— А то, что теоретически идеальный робот-андроид может быть построен только из человека.

Это будет сверхмыслитель, это будет сверхсилач, сверхэмоционал, все что угодно «сверх», в том числе и сверхчеловек, но только не человек…

— Ты, кажется, хочешь сказать, что аборигены превратили его в робота? — проговорила Майка, криво улыбаясь.

— Да нет же, — сказал я с досадой. — Я только хочу убедить тебя, что все человеческое в нем случайно, это просто свойство исходного материала… и что не нужно разводить вокруг него сантименты. Считай, что ты ведешь переговоры с этими цветными усами…

Майка вдруг схватила меня за плечо и сказала вполголоса:

— Смотри, возвращается!

Я привстал и посмотрел на экран. От болота, прямо к кораблю, быстро семеня ногами, во весь дух чесала скособоченная фигурка. Короткая черно-лиловая тень моталась по земле перед нею, грязный хохол на макушке отсвечивал рыжим. Малыш возвращался, Малыш спешил. Длинными своими руками он обнимал и прижимал к животу что-то вроде большой плетеной корзины, доверху набитой камнями. Тяжеленная, должно быть, была корзина.

Майка включила интерком.

— Пост УАС — Комову, — громко сказала она. — Малыш приближается.

— Понял вас, — сейчас же откликнулся Комов. — Яков, по местам… Попов, смените Глумову на посту УАС. Майя, в кают-компанию.

Майка нехотя поднялась.

— Иди, иди, — сказал я. — Посмотри на него вблизи, сосуд скорби.

Она сердито фыркнула и взбежала по трапу. Я занял ее место. Малыш был уже совсем близко. Теперь он замедлил свой бег и смотрел на корабль, и снова у меня появилось ощущение, будто он глядит мне прямо в глаза.

И тут я увидел: над хребтом в серо-лиловом небе возникли из ничего, словно проявились, чудовищные усы чудовищных тараканов. Как и давеча, они медленно гнулись, вздрагивали, сокращались. Я насчитал их шесть.

— Пост УАС! — окликнул меня Комов. — Сколько усов на горизонте?

— Шесть, — ответил я. — Три белых, два красных, один зеленый.

— Вот видите, Яков, — сказал Комов, — строгая закономерность. Малыш к нам — усы наружу.

Приглушенный голос Вандерхузе отозвался:

— Отдаю должное вашей проницательности,

Геннадий, и тем не менее дежурство полагаю пока обязательным.

— Ваше право, — коротко сказал Комов. — Майя, садитесь вот сюда…

Я доложил:

— Малыш скрылся в мертвом пространстве. Тащит с собой здоровенную плетенку с камнями.

— Понятно, — сказал Комов. — Приготовились, коллеги!

Я весь обратился в слух и сильно вздрогнул, когда из интеркома грянул рассыпчатый грохот. Я не сразу сообразил, что это Малыш разом высыпал на пол свои булыжники. Я слышал его мощное дыхание, и вдруг совершенно младенческий голос произнес:

— Мам-ма!.. — И снова: — Мам-ма…

А затем раздался уже знакомый мне захлебывающийся плач годовалого младенца. По старой памяти у меня что-то съежилось внутри, и в то же мгновение я понял, что это: Малыш увидел Майку. Это продолжалось не больше полуминуты; плач оборвался, снова загремели камни, и голос Комова деловито произнес:

— Вот вопрос. Почему мне все интересно? Все вокруг. Почему у меня все время появляются вопросы? Ведь мне от них нехорошо. Они у ме-

ня чешутся. Много вопросов. Десять вопросов в день, двадцать вопросов в день. Я стараюсь спастись: бегаю, целый день бегаю или плаваю, — не помогает. Тогда начинаю размышлять. Иногда приходит ответ. Это — удовольствие. Иногда приходят много ответов, не могу выбрать. Это — неудовольствие. Иногда ответы не приходят. Это — беда. Очень чешется. Ш-шарада. Сначала я думал, вопросы идут изнутри. Но я поразмыслил и понял: все, что идет изнутри, должно делать мне удовольствие. Значит, вопросы идут снаружи? Правильно? Я размышляю, как ты. Но тогда, где они лежат, где они висят, где их точка?

Пауза. Потом снова раздался голос Комова — настоящего Комова. Очень похоже, только настоящий Комов говорил не так отрывисто, и голос его звучал не так резко. В общем, отличить было можно, если знаешь, в чем дело.

— Я мог бы уже сейчас ответить на этот твой вопрос, — медленно проговорил Комов. — Но я боюсь ошибиться. Боюсь ответить неправильно или неточно. Когда я узнаю о тебе все, я смогу ответить без ошибки.

Пауза. Загремели и заскрипели по полу передвигаемые камни.

— Ф-фрагмент, — сказал Малыш. — Вот еще

вопрос. Откуда берутся ответы? Ты меня заставил думать. Я всегда считал: есть ответ — это удовольствие, нет ответа — беда. Ты мне рассказал, как размышляешь ты. Я вспоминал и вспомнил, что я тоже часто так размышляю, и часто приходит ответ. Видно, как он приходит. Так я делаю объем для камней. Вот такой. («Корзину», — подсказал Комов.) Да, корзину. Один прут цепляется за второй, второй — за третий, третий — дальше, и получается… корзина. Видно — как. Но гораздо чаще я размышляю, — снова загремели камни, — и ответ получается готовый. Есть куча прутьев, и вдруг — готовая корзина. Почему?

— И на этот вопрос, — сказал Комов, — я смогу ответить, только когда узнаю о тебе все.

— Тогда узнавай! — потребовал Малыш. — Узнавай скорее! Почему не узнаёшь? Я расскажу сам. Был корабль, только больше твоего, теперь он съежился, а был очень большой. Это ты знаешь сам. Потом было так.

Из интеркома донесся раздирающий хруст и треск, и сейчас же отчаянно, на нестерпимо высокой ноте завизжал ребенок. И сквозь этот визг, сквозь затихающий треск, удары, звон бьющегося стекла прохрипел мужской задыхающийся голос:

— Мари… Мари… Ма… ри…

Ребенок кричал, надрываясь, и некоторое время ничего больше не было слышно. Потом раздался какой-то шорох, сдавленный стон. Кто-то полз по полу, усеянному обломками и осколками, что-то покатилось с дребезгом. До жути знакомый женский голос простонал:

— Шура… Где ты, Шура?.. Больно… Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура… Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу…

И все это сквозь непрекращающийся крик младенца. Потом женщина затихла, через некоторое время затих и младенец. Я перевел дух и обнаружил, что кулаки у меня сжаты, а ногти глубоко вонзились в ладони. Челюсти у меня онемели.

— Так было долго, — сказал Малыш торжественно. — Я устал кричать. Я заснул. Когда я проснулся, было темно, как раньше. Мне было холодно. Я хотел есть. Я так сильно хотел есть и чтобы было тепло, что сделалось так.

Целый каскад звуков хлынул из интеркома — совершенно незнакомых звуков. Ровное нарастающее гудение, частое щелканье, какие-то гулы, похожие на эхо; басистое, на пороге слышимости бормотание; писк, скрип, зудение, медные

удары, потрескивание… Это продолжалось долго, несколько минут. Потом все разом стихло, и Малыш, чуть задыхаясь, сказал:

— Нет. Так мне не рассказать. Так я буду рассказывать столько времени, сколько я живу. Что делать?

— И тебя накормили? Согрели тебя? — спросил Комов ровным голосом.

— Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда было так, как мне хотелось. Пока не прилетел первый корабль.

— А что это было? — спросил Комов и, на мой взгляд, очень удачно проимитировал звуковую кашу, которую мы только что слышали.

Пауза.

— А, понимаю, — сказал Малыш. — Ты совсем не умеешь, но я тебя понял. Но я не могу ответить. Ведь у тебя самого нет слова, чтобы назвать. А ты знаешь больше слов, чем я. Дай мне слова. Ты мне дал много ценных слов, но все не те.

Пауза.

— Какого это было цвета? — спросил Комов.

— Никакого. Цвет — это когда смотришь глазами. Там нельзя смотреть глазами.

— Где — там?

— У меня. Глубоко. В земле.

— А как там на ощупь?

— Прекрасно, — сказал Малыш. — Удовольствие. Ч-чеширский кот! У меня лучше всего. Так было, пока не пришли люди.

— Ты там спишь? — спросил Комов.

— Я там всё. Сплю, ем, размышляю. Только играю я здесь, потому что люблю глядеть глазами. И там тесно играть. Как в воде, только еще теснее.

— Но ведь в воде нельзя дышать, — сказал Комов.

— Почему нельзя? Можно. И играть можно. Только тесно.

Пауза.

— Теперь ты все обо мне узнал? — осведомился Малыш.

— Нет, — решительно сказал Комов. — Ничего я о тебе не узнал. Ты же видишь, у нас нет общих слов. Может быть, у тебя есть свои слова?

— Слова… — медленно повторил Малыш. — Это когда двигается рот, а потом слышно ушами. Нет. Это только у людей. Я знал, что есть слова, потому что я помню. По бим-бом-брамселям. Что это такое? Я не знаю. Но теперь я знаю, зачем многие слова. Раньше не знал. Было удовольствие говорить. Игра.

— Теперь ты знаешь, что значит слово «оке-

ан», — произнес Комов, — но океан ты видел и раньше. Как ты его называл?

Пауза.

— Я слушаю, — сказал Комов.

— Что ты слушаешь? Зачем? Я назвал. Так нельзя услышать. Это внутри.

— Может быть, ты можешь показать? — сказал Комов. — У тебя есть камни, прутья…

— Камни и прутья не для того, чтобы показывать, — объявил Малыш, как мне показалось, сердито. — Камни и прутья — для того, чтобы размышлять. Если тяжелый вопрос — камни и прутья. Если не знаешь, какой вопрос, — листья. Тут много всяких вещей. Вода, лед — он хорошо тает, поэтому… — Малыш помолчал. — Нет слов, — сообщил он. — Много всяких вещей. Волосы… и много такого, для чего нет слова. Но это там, у меня.

Послышался протяжный тяжкий вздох. По-моему, Вандерхузе. Майка вдруг спросила:

— А когда ты двигаешь лицом? Что это?

— Мам-ма… — сказал Малыш нежным мяукающим голоском. — Лицо, руки, тело, — продолжал он голосом Майки, — это тоже вещи для размышления. Этих вещей много. Долго все называть.

Пауза.

— Что делать? — спросил Малыш. — Ты придумал?

— Придумал, — ответил Комов. — Ты возьмешь меня к себе. Я посмотрю и сразу многое узнаю. Может быть, даже все.

— Об этом я размышлял, — сказал Малыш. — Я знаю, что ты хочешь ко мне. Я тоже хочу, но я не могу. Это вопрос! Когда я хочу, я все могу. Только не про людей. Я не хочу, чтобы они были, а они есть. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, но не могу. Люди — это беда.

— Понимаю, — сказал Комов. — Тогда я возьму тебя к себе. Хочешь?

— Куда?

— К себе. Туда, откуда я пришел. На Землю, где живут все люди. Там я тоже смогу узнать о тебе все, и довольно быстро.

— Но ведь это далеко, — проговорил Малыш. — Или я тебя не понял?

— Да, это очень далеко, — сказал Комов. — Но мой корабль…

— Нет! — сказал Малыш. — Ты не понимаешь. Я не могу далеко. Я не могу даже просто далеко и уж совсем не могу очень далеко. Один раз я играл на льдинах. Заснул. Проснулся от страха. Большой страх, огромный. Я даже закричал. Фрагмент!

Льдина уплыла, и я видел только верхушки гор. Я подумал, что океан проглотил землю. Конечно, я вернулся. Я очень захотел, и льдина сразу пошла обратно к берегу. Но теперь я знаю, мне нельзя далеко. Я не только боялся. Мне было худо. Как от голода, только гораздо хуже. Нет, к тебе я не могу.

— Ну хорошо, — произнес Комов натужно-веселым голосом. — Наверное, тебе надоело отвечать и рассказывать. Я знаю, что ты любишь задавать вопросы. Задавай, я буду отвечать.

— Нет, — сказал Малыш, — у меня много вопросов к тебе. Почему падает камень? Что такое горячая вода? Почему пальцев десять, а чтобы считать, нужен всего один? Много вопросов. Но я не буду сейчас спрашивать. Сейчас плохо. Ты не можешь ко мне, я не могу к тебе, слов нет. Значит, узнать все про меня ты не можешь. Шшарада! Значит, не можешь уйти. Я прошу тебя: думай, что делать. Если сам не можешь быстро думать, пусть думают твои машины в миллион раз быстрее. Я ухожу. Нельзя размышлять, когда разговариваешь. Размышляй быстрее, потому что мне хуже, чем вчера. А вчера было хуже, чем позавчера.

Загремел и покатился камень. Вандерхузе

опять протяжно и тяжко вздохнул. Я глазом не успел моргнуть, а Малыш уже вихрем мчался к сопкам через строительную площадку. Я видел, как он проскочил взлетную полосу и вдруг исчез, словно его и не было. И в ту же секунду, как по команде, исчезли разноцветные усы над хребтом.

— Так, — сказал Комов. — Ничего не поделаешь. Яков, прошу вас, дайте радиограмму Сидорову, пусть доставит сюда оборудование, я вижу, без ментоскопа мне не обойтись.

— Хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но я хотел бы обратить ваше внимание, Геннадий… За весь разговор на индикаторе ни разу не зажегся зеленый огонь.

— Я видел, — сказал Комов.

— Но ведь это не просто отрицательные эмоции, Геннадий. Это ярко выраженные отрицательные эмоции…

Ответа Комова я не расслышал.

Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни вечером, ни ночью Малыш больше не появлялся. Усы тоже не появлялись. И Майка тоже.

Глава седьмая
ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ

За завтраком Комов был очень разговорчив. Ночью он, по-моему, совсем не спал, глаза у него были красные, щеки запали, но был он весел и возбужден. Он наливался крепким чаем и излагал нам свои предварительные соображения и выводы.

По его словам, теперь уже не было никакого сомнения в том, что аборигены подвергли организм мальчика самым коренным изменениям. Они оказались удивительно смелыми и знающими экспериментаторами: они изменили его физиологию и, частично, анатомию, невероятно расширили активную область его мозга, а также снабдили его новыми физиологическими механизмами, развить которые на базе обычного человеческого организма с точки зрения современной земной науки представляется пока невозможным. Цель этих анатомо-физиологических изменений лежит, может быть, на поверхности: аборигены попросту стремились приспособить беспомощного человеческого дете-

ныша к совершенно нечеловеческим условиям существования в этом мире. Не совсем ясным представляется вопрос, зачем они так серьезно вмешались в работу центральной нервной. Можно допустить, конечно, что это получилось у них случайно, как побочное следствие анатомо-физиологических изменений. Но можно допустить также, что они использовали резервы человеческого мозга целенаправленно. Тогда возникает веер предположений. Например, они стремились сохранить у Малыша все его младенческие воспоминания и впечатления, с тем чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет в человеческое общество. Действительно, Малыш поразительно легко сошелся с нами, так что мы не кажемся ему ни уродами, ни чудовищами. Но не исключено также, что громадная память Малыша и феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров есть опять же лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом. Возможно, аборигены прежде всего стремились создать между собой и центральной нервной Малыша устойчивую психическую связь. То, что такая связь существует, представляется в высшей степени вероятным. Во всяком случае, трудно иначе объяснить такие факты,

как спонтанное — внелогическое — появление у Малыша ответов на вопросы; непременное исполнение всех осознанных и даже неосознанных желаний Малыша; прикованность Малыша к этому району планеты. Сюда же, вероятно, относится и сильное психическое напряжение, в котором пребывает Малыш в связи с появлением людей. Сам Малыш не в состоянии объяснить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно, что мы мешаем не ему. Мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов.

Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими — так или иначе, несоизмеримыми с физическими размерами Малыша. Именно поэтому Малыш воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы, окружающей его с младенчества. («Когда я спросил его про усы, Малыш довольно равнодушно сообщил: усы он видит впервые, но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова же для обозначения подобных явлений мы подобрать не смогли».) Лично он, Комов, склонен предполагать, что аборигены представляют собой некие исполинские

сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми человек встречался прежде. Мы знаем о них пока ничтожно мало. Мы видели: чудовищные сооружения (или образования?) над горизонтом, появление и исчезновение которых явно связаны с посещениями Малыша. Мы слышали: ни с чем не ассоциируемые звуки, которые воспроизводил Малыш, описывая свой «дом». Мы поняли: аборигены находятся на чрезвычайно высоком уровне теоретического и практического знания, если судить по тому, во что они сумели превратить обыкновенного человеческого младенца. Вот и все. У нас пока даже вопросов не много, хотя вопросы эти, конечно, фундаментальны. Почему аборигены спасли и содержат Малыша, почему они вообще заинтересовались им, какое им до него дело? Откуда они знают людей — знают неплохо, разбираются в основах их психологии и социологии? Почему при всем том они так отталкиваются от общения с людьми? Как совместить очевидно высокий уровень знаний с полным отсутствием следов какой бы то ни было разумной деятельности? Или нынешнее плачевное состояние планеты как раз и есть следствие этой деятельности? Или состояние

это является плачевным только с нашей точки зрения? Вот, собственно, и все основные вопросы. У него, Комова, есть кое-какие соображения на этот счет, но он полагает, что высказывать их пока преждевременно.

Во всяком случае, ясно, что сделанное открытие есть открытие первостепенной важности, реализовать его необходимо, но реализация возможна только через посредничество Малыша. Скоро должна прибыть ментоскопическая и прочая спецтехника. Использовать ее на все сто процентов мы сможем только в том случае, если Малыш нам будет полностью доверять и, более того, будет испытывать достаточно сильную в нас нужду.

— Я решил, что сегодня в контакт с ним не вступаю, — произнес Комов, отодвинув пустой стакан. — Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать его на глайдере. Не стесняйтесь с ним, ребята, веселее, проще! Представьте себе, что он — ваш младший братишка-вундеркинд… Яков, вам придется побыть на дежурстве. В конце концов, вы сами его учредили… Ну, а если Малыш доберется и до вас, как-нибудь соберитесь с силами и позвольте ему подергать вас

за бакенбарды — очень он ими интересуется. А я притаюсь, как паук, буду за всем этим наблюдать и регистрировать. Поэтому, молодежь, извольте экипироваться «третьим глазом». Если Малыш будет спрашивать обо мне, скажите, что я размышляю. Пойте ему песни, покажите ему кино… Покажите ему вычислитель, Стась, расскажите, как он действует, попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь ожидает вас некоторый сюрприз… И пусть он больше спрашивает, как можно больше. Чем больше, тем лучше… По местам, ребята, по местам!

Он вскочил и умчался. Мы посмотрели друг на друга.

— Вопросы есть, кибертехник? — спросила Майка. Холодно спросила, совсем не по-дружески. Это были ее первые слова за все утро. Она даже не поздоровалась со мной сегодня.

— Нет, квартирьер, — сказал я. — Вопросов нет, квартирьер. Вас вижу, но не слышу.

— Все это, конечно, хорошо, — задумчиво проговорил Вандерхузе. — Мне бакенов не жалко. Но!

— Вот именно, — сказала Майка, поднимаясь. — Но.

— Я хочу сказать, — продолжал Вандерхузе, — что вчера вечером была радиограмма от

Горбовского. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакт. И он снова намекал, что был бы рад к нам присоединиться.

— А что Комов? — спросил я.

Вандерхузе задрал голову и, лаская левый бакенбард, поглядел на меня поверх носа.

— Комов высказался об этом непочтительно, — сказал он. — Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, что благодарит за совет.

— И? — сказал я. Мне очень хотелось поглядеть на Горбовского. Я его толком даже в хронике никогда не видел.

— И все, — сказал Вандерхузе, тоже поднимаясь.

Мы с Майкой отправились в арсенал. Там мы отыскали и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с «третьим глазом» — знаете, эти портативные телепередатчики для разведчиков-одиночек, чтобы можно было непрерывно передавать визуальную и акустическую информацию, все, что видит и слышит сам разведчик. Простая, но остроумная штука, ее совсем недавно стали включать в комплект оборудования ЭР. Пришлось немножко повозиться, пока мы подгоняли обручи, чтобы они не давили на виски и не

сваливались на переносицу и чтобы объектив не экранировался капюшоном. При этом я отпускал отчаянные остроты, всячески провоцировал Майку на шуточки в мой адрес и вообще пускался во все тяжкие, чтобы хоть немножко расшевелить ее. Все втуне — Майка оставалась хмурой, отмалчивалась или отвечала односложно. Вообще с Майкой это бывает, случаются у нее приступы хандры, и в таких случаях лучше всего оставить ее в покое. Но сейчас мне казалось, что Майка не просто хандрит, а злится, и злится именно на меня; почему-то я чувствовал себя виноватым перед нею и совершенно не понимал, как быть.

Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, а я выпустил на волю Тома и погнал его на посадочную полосу. Солнце уже поднялось, ночной мороз спал, но было все-таки еще очень холодно. Нос у меня сразу закоченел. Вдобавок легким, но очень злым ветерком тянуло с океана. Малыша нигде видно не было.

Я немного погонял Тома по полосе, чтобы дать ему размяться. Том был польщен таким вниманием и преданно испрашивал приказаний. Потом подошла Майка с мячом, и мы, чтобы не замерзнуть, минут пять постукали — честно говоря, не без удовольствия. Я все надеялся, что

Майка, по обыкновению, войдет в азарт, но и здесь — втуне. В конце концов мне это надоело, и я прямо спросил, что случилось. Она поставила мяч на рубчатку, села на него, подобрала доху и пригорюнилась.

— В чем все-таки дело? — повторил я.

Майка посмотрела на меня и отвернулась.

— Может быть, ты все-таки ответишь? — спросил я, повысив голос.

— Ветерок нынче, — произнесла Майка, рассеянно оглядывая небо.

— Что? — спросил я. — Какой ветерок?

Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объективом «третьего глаза» и сказала:

— Ба-кал-да-ка. На-кас слы-кы-ша-кат.

— Са-ка-ма-ка ба-кал-да-ка, — ответствовал я. — Та-кам же-ке тра-кан-сля-ка-то-кор…

— И то верно, — сказала Майка. — Вот я и говорю тебе: ветерок, мол.

— Да, — подтвердил я. — Что ветерок, то ветерок.

Я постоял, чувствуя себя чертовски стесненно и пытаясь придумать какую-нибудь нейтральную тему для беседы, ничего, кроме того же ветерка, не придумал, и тут мне пришло в голову, что неплохо бы пройтись. Я ведь ни разу еще не бро-

дил по окрестностям, — без малого неделю здесь нахожусь, а на земле этой так толком и не стоял, только на экранах видел. К тому же был шанс наткнуться где-нибудь в зарослях на Малыша, особенно если он сам этого захочет, и это было бы уже не только приятно, но и полезно для дела: завязать с ним беседу в привычной для него обстановке. Я изложил все эти соображения Майке. Она молча встала и пошла к болоту, а я, погрузив нос в меховой воротник и засунув руки поглубже в карманы, поплелся следом. Том, изнемогая от услужливости, увязался было за мною, но я велел ему оставаться на месте и ждать дальнейших указаний.

В болото мы, конечно, не полезли, а двинулись в обход, продираясь через заросли кустарника. Жалкая была здесь растительность — бледная, худосочная, вялые синеватые листочки с металлическим отливом, хрупкие узловатые веточки, пятнистая оранжевая кора. Кусты редко достигали моего роста, так что вряд ли Вандерхузе рисковал бы здесь своими бакенбардами. Под ногами упруго подавался толстый слой палых листьев, перемешанных с песком. В тени искрился иней. Но при всем при том растительность эта вызывала определенное к себе уважение.

Наверное, очень нелегко было ей здесь произрастать: ночью температура падала до минус двадцати, днем редко поднималась выше нуля, а под корнями — сплошной соленый песок. Не думаю, чтобы какое-нибудь земное растение сумело бы приспособиться к таким безрадостным условиям. И странно было представить себе, что где-то среди этих прозябших кустов бродит, ступая босыми пятками по заиндевелому песку, голый человечек.

Мне почудилось какое-то движение в густых зарослях справа. Я остановился, позвал: «Малыш!» — но никто не откликнулся. Мерзлая ледяная тишина окружала нас. Ни шелеста листвы, ни жужжания насекомых — все это вызывало неожиданное ощущение, словно мы плутали среди театральных декораций. Мы обогнули длинный язык тумана, высунувшийся из горячего болота, и стали подниматься по склону холма. Собственно, это была песчаная дюна, схваченная кустами. Чем выше мы поднимались, тем тверже становилась под ногами песчаная поверхность. Взобравшись на гребень, мы огляделись. Корабль скрывали от нас облака тумана, но посадочная полоса была видна хорошо. Весело и ярко блестела под солнцем рубчатка, сиротливо чернел

посередине оставленный мяч, и грузный Том неуверенно топтался вокруг него — явно решал непосильную задачу: то ли убрать с полосы этот посторонний предмет, то ли при случае жизнь положить за эту забытую человеком вещь.

И тут я заметил следы на промерзшем песке — темные влажные пятна среди серебристого инея. Здесь проходил Малыш, проходил совсем недавно. Сидел на гребне, а потом поднялся и пошел вниз по склону, удаляясь от корабля. Цепочка следов тянулась в заросли, забившие дно лощины между дюнами. «Малыш!» — снова позвал я, и снова он не отозвался. Тогда я стал спускаться в лощину.

Я нашел его сразу. Мальчик лежал ничком, вытянувшись во всю длину, прижавшись щекой к земле и обхватив голову руками. Он казался очень странным и невозможным здесь, никак не вписывался он в этот ледяной пейзаж. Противоречил ему. В первую секунду я даже испугался, не случилось ли что-нибудь. Слишком уж здесь было холодно и неприютно. Я присел рядом с ним на корточки, окликнул, а потом, когда он промолчал, легонько шлепнул его по голому поджарому заду. Это я впервые прикоснулся к нему и чуть не заорал от неожиданности: он показался

мне горячим, как утюг.

— Он придумал? — спросил Малыш, не поднимая головы.

— Он размышляет, — сказал я. — Трудный вопрос.

— А как я узнаю, что он придумал?

— Ты придешь, и он сразу тебе скажет.

— Мам-ма, — вдруг сказал Малыш.

Я взглянул. Майка стояла рядом.

— Мам-ма, — повторил Малыш, не двигаясь.

— Да, колокольчик, — сказала Майка тихо.

Малыш сел — перелился из лежачего положения в сидячее.

— Скажи еще раз! — потребовал он.

— Да, колокольчик, — сказала Майка. Лицо у нее побелело, резко проступили веснушки.

— Феноменально! — произнес Малыш, глядя на нее снизу вверх. — Щелкунчик!

Я прокашлялся.

— Мы тебя ждали, Малыш, — сказал я.

Он стал смотреть на меня. С большим трудом я удержался, чтобы не отвести глаза. Страшненькое все-таки было у него лицо.

— Зачем ты меня ждал?

— Ну, как зачем… — Я несколько растерялся, но меня тут же осенило. — Мы скучаем без тебя. Нам

без тебя плохо. Нет удовольствия, понимаешь?

Малыш вскочил и сейчас же снова сел. Очень неудобно сел — я бы двух секунд так не просидел.

— Тебе плохо без меня?

— Да, — сказал я решительно.

— Феноменально, — проговорил он. — Тебе плохо без меня, мне плохо без тебя. Ш-шарада!

— Ну почему же — шарада? — огорчился я. — Если бы мы не могли быть вместе, вот тогда бы была шарада. А сейчас мы встретились, можно играть… Вот ты любишь играть, но ты всегда играл один…

— Нет, — возразил Малыш, — только сначала я играл один. А потом я играл на озере и увидел свое изображение в воде. Хотел с ним играть, оно распалось. Тогда я очень захотел, чтобы у меня были изображения, много изображений, чтобы с ними играть. И стало так.

Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои диковинные фантомы — черные, белые, желтые, красные, а потом сел посередине и горделиво огляделся. И должен вам сказать, это было зрелище: голый мальчишка на песке, и вокруг него дюжина разноцветных статуй в разных позах.

— Феноменально, — сказал я и посмотрел на Майку, приглашая ее принять хоть какое-нибудь участие в беседе. Мне было неловко, что я все время говорю, а она молчит. Но она ничего не сказала, просто хмуро глядела, а фантомы зыбко колебались и медленно таяли, распространяя запах нашатырного спирта.

— Я всегда хотел спросить, — объявил Малыш, — зачем вы заворачиваетесь? Что это такое? — Он подскочил ко мне и дернул за полу дохи.

— Одежда, — сказал я.

— Одежда, — повторил он. — Зачем?

Я рассказал ему про одежду. Я не Комов. Сроду не читал лекций, особенно об одежде. Но без ложной скромности скажу: лекция имела успех.

— Все люди в одежде? — спросил пораженный Малыш.

— Все, — сказал я, чтобы покончить с этим вопросом. Я не совсем понимал, что его, собственно, поражает.

— Но людей много! Сколько?

— Пятнадцать миллиардов.

— Пятнадцать миллиардов, — повторил он и, выставив перед собой палец без ногтя, принялся сгибать и разгибать его. — Пятнадцать милли-

ардов! — сказал он и оглянулся на призрачные остатки фантомов. Глаза его потемнели. — И все в одежде… А еще что?

— Не понимаю.

— Что они еще делают?

Я набрал в грудь побольше воздуху и принялся рассказывать, что делают люди. Странно, конечно, но до сих пор я как-то не задумывался над этим вопросом. Боюсь, что у Малыша создалось впечатление, будто человечество занимается большей частью кибертехникой. Впрочем, я решил, что для начала и это неплохо. Малыш, правда, не метался, как во время лекций Комова, и не скручивался в узел, но слушал все равно, словно завороженный. И когда я кончил, совершенно запутавшись и отчаявшись дать ему представление об искусстве, он немедленно задал новый вопрос.

— Так много дел, — сказал он. — Зачем пришли сюда?

— Майка, расскажи ему, — взмолился я сиплым голосом. — У меня нос замерз…

Майка отчужденно посмотрела на меня, но все-таки принялась вяло и, на мой взгляд, совсем неинтересно рассказывать про блаженной памяти проект «Ковчег». Я не удержался, стал

ее перебивать, пытаясь расцветить лекцию живописными подробностями, затеял вносить поправки, и в конце концов вдруг оказалось, что опять говорю я один. Рассказ свой я счел необходимым закончить моралью.

— Ты сам видишь, — сказал я. — Мы начали было большое дело, но как только поняли, что твоя планета занята, мы сразу же отказались от нашей затеи.

— Значит, люди умеют узнавать, что будет? — спросил Малыш. — Но это неточно. Если бы люди умели, они бы давно отсюда ушли.

Я не придумал, что ответить. Тема показалась мне скользкой.

— Знаешь, Малыш, — сказал я бодро, — давай пойдем поиграем. Посмотришь, как интересно играть с людьми.

Малыш молчал. Я свирепо поглядел на Майку: что она, в самом деле, не могу же я один тащить на себе весь контакт!

— Пойдем поиграем, Малыш, — без всякого энтузиазма поддержала меня Майка. — Или хочешь, я покатаю тебя на летательной машине?

— Ты будешь летать в воздухе, — подхватил я, — и все будет внизу — горы, болота, айсберг…

— Нет, — сказал Малыш, — летать — это обыч-

ное удовольствие. Это я могу сам.

Я подскочил.

— Как — сам?

По лицу его прошла мгновенная рябь, поднялись и опустились плечи.

— Нет слов, — сказал он. — Когда захочу — летаю…

— Так полети! — вырвалось у меня.

— Сейчас не хочу, — сказал он нетерпеливо. — Сейчас мне удовольствие с вами. — Он вскочил. — Хочу играть! — объявил он. — Где?

— Побежали к кораблю, — предложил я.

Он испустил душераздирающий вопль, и не успело эхо замереть в дюнах, как мы уже наперегонки неслись через кустарник. На Майку я окончательно махнул рукой: пусть делает что хочет.

Малыш скользил меж кустов, как солнечный зайчик. По-моему, он не задел ни одной ветки и вообще ни разу не коснулся земли. Я в своей дохе с электроподогревом ломил напролом, как песчаный танк, только трещало вокруг. Я все время пытался его догнать, и меня все время сбивали с толку его фантомы, которые он поминутно оставлял за собой. На опушке зарослей Малыш остановился, дождался меня и сказал:

— У тебя так бывает? Ты просыпаешься и вспоминаешь, будто сейчас только видел что-то. Иногда это хорошо известное. Например, как я летаю. Иногда — совсем новое, такое, чего не видел раньше.

— Да, бывает, — сказал я, переводя дух. — Это называется сон. Ты спишь и видишь сны.

Мы пошли шагом. Где-то позади трещала кустарником Майка.

— Откуда это берется? — спросил Малыш. — Что это такое — сны?

— Небывалые комбинации бывалых впечатлений, — отбарабанил я.

Он не понял, конечно, и мне пришлось прочесть еще одну небольшую лекцию — о том, что такое сны, как они возникают, зачем они нужны и как было бы плохо человеку, если бы их не было.

— Чеширский кот! Но я так и не понял, почему я вижу во сне то, чего раньше не видел никогда.

Майка нагнала нас и молча пошла рядом.

— Например? — спросил я.

— Иногда мне снится, что я огромный-огромный, что я размышляю, что вопросы приходят ко мне один за другим, очень яркие вопросы, удивительные, и я нахожу ответы, удивительные ответы, и я очень хорошо знаю, как из вопроса об-

разуется ответ. Это самое большое удовольствие, когда знаешь, как из вопроса образуется ответ. Но когда я просыпаюсь, я не помню ни вопросов, ни ответов. Помню только удовольствие.

— М-да, — сказал я уклончиво. — Интересный сон. Но объяснить его я тебе не могу. Спроси у Комова. Может быть, он объяснит.

— У Комова… Что такое — Комов?

Мне пришлось изложить ему нашу систему имен. Мы уже огибали болото, и перед нами открылся корабль и посадочная полоса. Когда я закончил, Малыш вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Странно. Никогда со мной так не было.

— Как?

— Чтобы я хотел для себя и не мог.

— А что ты хочешь?

— Я хочу разделиться пополам. Сейчас я один, а чтобы стало два.

— Ну, брат, — сказал я, — тут и хотеть нечего. Это же невозможно.

— А если бы возможно? Плохо или хорошо?

— Плохо, конечно, — сказал я. — Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать… Можно разорваться пополам. Это совсем плохо. Можно заболеть: называется — раздвоение личности.

Это тоже плохо, но это можно поправить.

— Больно? — спросил Малыш.

Мы ступили на рубчатку. Том уже катил навстречу, гоня перед собой мяч и радостно мигая сигнальными огоньками.

— Брось об этом, — сказал я. — Ты и в целом виде хорош.

— Нет, не хорош, — возразил Малыш, но тут набежал Том и началась потеха.

Из Малыша градом посыпались вопросы. Я не успевал отвечать. Том не успевал выполнять команды. Мяч не успевал касаться земли. И только Малыш все успевал.

Со стороны это выглядело, наверное, очень весело. Да нам и на самом деле было весело, даже Майка в конце концов разошлась. Наверное, мы были похожи на расшалившихся подростков, которые удрали с уроков на берег океана. Сначала еще была какая-то неловкость, сознание того, что мы не развлекаемся, а работаем, что за каждым нашим движением следят, что между нами и Малышом осталось что-то тяжкое, недоговоренное, а потом все это как-то забылось. Остался только мяч, летящий тебе прямо в лицо, и восторг удачного удара, и злость на неуклюжего Тома, и звон в ушах от удалого гиканья, и резкий отрывистый

хохот Малыша — мы впервые услышали тогда его смех, самозабвенный, совсем детский…

Это была странная игра. Малыш придумывал правила на ходу. Он оказался невероятно выносли в и азартен, он не упускал ни единого случая продемонстрировать перед нами свои физические преимущества, он навязал нам соревнование, и как-то само собой получилось, что он стал играть один против нас троих, и мы все время проигрывали. Сначала он выигрывал, потому что мы поддавались. Потом он выигрывал, потому что мы не понимали его правил. Потом мы поняли правила, но нам с Майкой мешали дохи. Потом мы решили, что Том слишком неуклюж, и прогнали его. Майка вошла в азарт и заиграла в полную силу, я тоже делал все, что мог, но мы проигрывали очко за очком. Мы ничего не могли сделать с этим молниеносным дьяволенком, который перехватывал любые мячи, сам бил очень сильно и точно, негодующе вопил, если мяч задерживался в наших руках дольше секунды, совершенно сбивал нас с толку своими фантомами или, того хуже, манерой мгновенно исчезать из виду и появляться столь же мгновенно совсем в другом месте. Мы не сдавались, конечно, — от нас столбом шел пар, мы задыхались, мы потели, мы

орали друг на друга, но мы дрались до последнего. И вдруг все кончилось.

Малыш остановился, проводил взглядом мяч и сел на песок.

— Это было хорошо, — сказал он. — Я никогда не знал, что бывает так хорошо.

— Что? — крикнул я, задыхаясь. — Устал, Малыш?

— Нет. Вспомнил. Не могу забыть. Не помогает. Никакое удовольствие не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться, но боюсь. Поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро.

— Ну что ты, в самом деле, Малыш! — сказал я расстроенно. Я не совсем понимал, что с ним происходит, но я видел, что ему действительно плохо. — Выбрось ты все это из головы! Просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть…

— Нет, — сказал Малыш и вскочил. — Больше не приду.

— Ну почему же? — вскричал я. — Ведь было хорошо! Будет еще лучше! Есть другие игры, не

только с мячом… С обручем, с крыльями!

Он медленно пошел прочь.

— Есть шахматы! — торопливо говорил я ему в спину. — Ты знаешь, что такое шахматы? Это величайшая игра, ей тысяча лет!..

Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохновенно объяснять ему, что такое шахматы — простые шахматы, трехмерные шахматы, эн-мерные шахматы… Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я кончил про шахматы и начал про покари. Я судорожно вспоминал все игры, какие знал.

— Да, — произнес Малыш. — Я приду.

И, уже больше не останавливаясь, он побрел, нога за ногу, к болоту. Некоторое время мы молча смотрели ему вслед, потом Майка крикнула: «Малыш!» — сорвалась с места, догнала его и пошла рядом. Я подобрал свою доху, оделся, отыскал доху Майки и нерешительно двинулся за ними. На душе у меня был какой-то неприятный осадок, и я не понимал, в чем дело. Вроде бы все кончилось хорошо: Малыш обещал вернуться, значит все-таки привязался к нам, значит, без нас ему теперь гораздо хуже, чем с нами… «Привыкнет, — повторял я про себя. — Ничего, привыкнет…» Я увидел, что Майка остановилась, а Малыш

побрел дальше. Майка повернулась и, обхватив себя за плечи, побежала мне навстречу. Я подал ей доху и спросил:

— Ну что?

— Все в порядке, — сказала она. Глаза у нее были прозрачные и какие-то отчаянные.

— Я думаю, что в конце концов… — начал я и осекся. — Майка, — сказал я, — ты же «третий глаз» потеряла!

— Я его не потеряла, — сказала Майка.

Глава восьмая
СОМНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой линии, прямо через дюны и заросли. Сначала «третий глаз» интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо-маска, то заиндевелый песок. Потом он оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не так, как обычно, или обруч надел не совсем правильно, но впечатление было такое, словно объектив смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны, озябшие кусты, иногда возникали сизые горные вершины или появлялся вдруг черный океан со сверкающими айсбергами на горизонте.

По-моему, Малыш двигался без определенной цели — просто брел куда глаза глядят, подальше от нас. Несколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел в нашу сторону. На приемном экране появлялись ослепительно белый конус нашего ЭР-2, серебристая лента посадочной поло-

сы, оранжевый Том, одиноко приткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но на обзорном экране Малыша мы так и не обнаружили.

Примерно через час Малыш вдруг резко свернул к горам. Теперь солнце било прямо в объектив — и видно стало хуже. Дюны вскоре кончились, Малыш брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья, среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой, по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял, оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, потом в нем появился ритм, а к ритму примешивалось не то жужжание, не то гудение. Звук этот, непрерывный и неприятный, становился все громче. Скорее всего, это гудел и жужжал сам Малыш — может быть, это была песня, а может быть, и разговор с самим собой.

Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев все чаще попадались каменные россыпи, замшелые валуны, громадные обломки скал. Потом на экране вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, вошел в него, на мгновение мы увидели взбаламученную воду, затем изобра-

жение потускнело и исчезло — Малыш нырнул.

Под водой он был очень долго, я уже думал, что он утопил передатчик, и мы больше ничего не увидим, но минут через десять изображение появилось снова, мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы почти ничего не различали, но вскоре в правой части экрана появилось изображение ладони, на которой прыгала и извивалась уродливая пантианская рыбка.

Когда объектив «глаза» очистился окончательно, Малыш бежал. Древесные стволы неслись на нас и в последние мгновения стремительно ускользали то вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания — только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. И вдруг произошло непонятное: Малыш как вкопанный остановился перед серым валуном и погрузил в него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было хорошо замаскированное отверстие. По-моему, не было. Когда через несколько секунд Малыш извлек руки, они были черные и блестящие, и это черное и блестящее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчетливым мокрым стуком капало на землю. Потом руки исчезли из поля зрения и Малыш побежал дальше.

Он остановился перед диковинным сооружением, похожим на покосившуюся башню, и я не сразу понял, что это — разбитый корабль «Пеликан». Теперь я своими глазами увидел, как страшно ему досталось при падении и что с ним сделали долгие годы на этой планете. Зрелище было не из приятных. Между тем Малыш медленно приблизился, заглянул в отверстую дыру люка — на мгновение экран погрузился в непроглядную тьму, — затем так же медленно обошел несчастный корабль кругом. Он снова остановился перед люком, поднял руку и приложил черную ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту. Он стоял так с минуту, и мы снова услышали его жужжание и гудение, и мне показалось, что из-под растопыренных пальцев поднимаются струйки синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил на шаг. На мертвой почернелой обшивке явственно виднелся отчетливый рельефный отпечаток — ладонь с растопыренными пальцами.

— Ух ты мой сверчок на печи, — произнес сочный баритон.

— Колокольчик!.. — откликнулся нежный женский голос.

— Зика! — почти шепотом проговорил бари-

тон. — Зиканька!..

Заплакал младенец.

Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. Теперь на экране виднелся горный склон — изборожденный трещинами гранит, старые осыпи, крошево острых камней, сверкающих изломанными гранями, поросли хилой жесткой травы, глубокие, непроницаемо черные расселины. Малыш поднимался по склону, мы видели его руки, цепляющиеся за выступы, зернистый камень толчками уходил вниз по экрану, стало слышно ровное шумное дыхание, а потом движение стало плавным и быстрым, у меня зарябило в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, сразу же оборвавшийся смех Малыша. Малыш летел — это было несомненно.

На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившейся кисеи. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце, пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобно острые пики, покрытые вечными снегами, — без-

радостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ощетиненный. И мы увидели мощное, лаково отсвечивающее колено Малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, крепко вцепившуюся в осязаемое ничто.

Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхузе вид был тоже озадаченный, а Майка недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен — сидел, уперев локти в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы.

А Малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось — в черную трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи, — там царила сплошная тьма. И в эту тьму стремительно ворвался Малыш; изображение исчезло, и Майка, протянув руку, включила усиление, но и с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых по-

лос. Затем Малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбился!» — подумал я в ужасе. Майка изо всей силы вцепилась мне в запястье.

На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна, все было серое и черное, и слышались странные звуки — какое-то бульканье, хриплое курлыканье, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга, курлыканье и бульканье становилось то громче, то тише, разгорелся и погас оранжевый огонек, потом еще один, и еще… Что-то коротко взревело и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра», — сквозь зубы проговорил Комов. Майка схватилась за верньер инфракрасного усиления и повернула его до отказа. Экран сразу посветлел, но я по-прежнему ничего не понимал.

Все пространство было заполнено фосфоресцирующим туманом. Правда, это был не обычный туман, в нем угадывалась какая-то структура — словно срез животной ткани под расфокусированным микроскопом — и в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрания темных пульсирующих

зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь, а Малыш шел через это, будто на самом деле ничего этого не было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами, и пальцы его вибрировали и содрогались в сложном и очевидном ритме, а вокруг — булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.

Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, расплывается, и вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев Малыша. И тогда Малыш остановился. Мы поняли это по тому, что звуки перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков. Хриплые гулы, басистое бормотание, задавленные писки… что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами… зудение, скрип, медные удары… А потом в ровном сиянии проступили темные пятна, десятки темных пятен, больших и маленьких; сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое, и вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно, но я уже не мог отогнать от себя

эту мысль. Люди. Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и видимая словно бы несколько сверху… И тут что-то произошло. На какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным. Слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бешеный голос Комова произнес:

— Зачем вы это сделали?

Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпрямившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокойна. Она тоже поднялась и теперь стояла перед Комовым лицо к лицу. Она молчала.

— Что случилось? — осторожно осведомился Вандерхузе. По-видимому, он тоже ничего не понимал.

— Вы либо хулиганка, либо… — Комов остановился. — Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, входить в рубку и на пост УАС. Ступайте отсюда.

Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за ней.

— Попов! — резко сказал Комов.

Я остановился.

— Прошу вас немедленно передать эту запись в Центр. Экстренно.

Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. Такой Комов имел несомненное право приказывать, сажать под домашний арест и вообще подавлять любой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, что я сейчас разорвусь пополам. «Как Малыш», — мелькнуло у меня в голове.

Вандерхузе произнес, кашлянув:

— Э-э, Геннадий. Может быть, все-таки не в Центр? Горбовский ведь уже на базе. Может быть, все-таки на базу, как вы полагаете?

Комов все смотрел на меня. Суженные глаза его казались льдинками.

— Да, конечно, — проговорил он, совершенно, впрочем, спокойно. — Копию на базу, Горбовскому. Благодарю вас, Яков. Попов, приступайте.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как приступить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фуражки, как в старину, я бы повернул свою фуражку козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и поэтому я, извлекая из рекордера кассету, ограничился тем, что спросил с вызовом:

— А что, собственно, произошло? Что она такого сделала?

Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем по подлокотнику. Вандерхузе, растопырив бакенбарды, тоже смотрел на него с ожиданием.

— Она включила прожектор, — сказал наконец Комов.

Я не сразу понял.

— Какой прожектор?

Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную клавишу.

— А, — произнес Вандерхузе с огорчением.

А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к рации. Если честно, говорить мне было нечего. Даже за меньшие провинности людей с шумом и позором вышибали из космоса. Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего сознание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты даже на освещенной стороне планеты… даже если он засыпан… Такой прожектор излучает в диапазоне

от ультрафиолета до УКВ… Не было еще случая, чтобы разведчику не удалось отпугнуть такой вспышкой самое бешеное, самое кровожадное животное. Даже тахорги, которые вообще ничего на свете не боятся, тормозят задними ногами, останавливая свой неудержимый разбег… «С ума сошла, — подумал я безнадежно. — Совсем взбесилась…» Но вслух я сказал (усаживаясь за рацию):

— Подумаешь! Нажал человек не на ту клавишу, ошибся…

— Да, действительно, — произнес Вандерхузе. — Наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор… Клавиши рядом… Как вы полагаете, Геннадий?

Комов молчал. Что-то он там делал на пульте. Я не хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал демонстративно глядеть в другую сторону.

— Неприятно, конечно, — бормотал Вандерхузе. — Ай-яй-яй-яй… В самом деле, ведь это может отразиться… Активное воздействие… Вряд ли приятное… Гм… У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время, Геннадий. Неудивительно, что девочка ошиблась… Мне самому хотелось, знаете ли, что-нибудь сделать… как-то улучшить изображение… Бедный Малыш. По-моему, это он закричал…

— Вот, — сказал Комов. — Можете полюбоваться. Три с половиной кадра.

Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал и подошел. На экране было то самое, что я увидел в последнее мгновение, но не успел воспринять. Изображение было отличное, и все-таки я совершенно не понимал, что это такое. Много людей, множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке. Стояли они как бы на ровной и хорошо освещенной площади. Передние фигурки были больше, задние, в полном соответствии с законами перспективы, меньше. Впрочем, ряды казались бесконечными и где-то вдали сливались в сплошные черные полосы.

— Это Малыш, — проговорил Комов. — Узнаете?

До меня дошло: действительно, это был Малыш, повторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчисленное множество раз.

— Похоже на многократное отражение, — пробормотал Вандерхузе.

— Отражение… — повторил Комов. — А где же тогда отражение лампы? И где у Малыша тень?

— Не знаю, — честно признался Вандерхузе. — Действительно, тень должна быть.

— А вы что думаете, Стась? — спросил Комов, не оборачиваясь.

— Ничего, — коротко сказал я и вернулся на свое место.

На самом-то деле я, конечно, думал, у меня мозги скрипели — так я думал, но придумать ничего не мог. Больше всего мне это напоминало формалистический рисунок пером.

— Да, не много мы узнали, — проговорил Комов. — Даже шерсти клок оказался никудышным…

— Охо-хо-хо-хохонюшки, — проговорил Вандерхузе, тяжело поднялся и вышел.

Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как там Майка. Но я взглянул на хронометр — до конца передачи оставалось еще минут десять. Комов шуршал и возился у меня за спиной. Потом рука его протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной лег голубой бланк радиограммы.

— Это объяснительная записка, — сказал Комов. — Отправьте сразу же по окончании передачи записи.

Я прочел радиограмму.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, ГОРБОВСКОМУ. КОПИЯ:

ЦЕНТР, БАДЕРУ. НАПРАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЗАПИСЬ С ПЕРЕДАТЧИКА ТИПА ТГ. НОСИТЕЛЬ МАЛЫШ. ЗАПИСЬ ВЕЛАСЬ С 13.46 ПО 17.02 БВ. ПРЕРВАНА ВСЛЕДСТВИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ ПО МОЕЙ НЕБРЕЖНОСТИ. СИТУАЦИЯ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.

Я не понял и перечитал радиограмму еще раз. Потом я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрел на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна благодарности захлестнула меня с головой. Нет, этого не было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому человеку. Но должного ему нельзя было не отдать. В такой ситуации не всякий поступил бы столь же решительно и просто. И неважно, собственно, почему он так поступил: потому ли, что пожалел Майку (сомнительно), или устыдился своей резкости (более похоже на правду), или потому, что принадлежит к руководителям того типа, которые совершенно искренне считают проступки подчиненных своими проступками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой вылететь из космоса существенно уменьшилась, а позиция и реноме самого Комова заметно ухудшились. Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам

зачтется. Такие действия надлежит всячески поощрять. А с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола, в самом деле? Что она — маленькая? В куклы она тут играть решила?

Автомат звякнул и выключился, я взялся за радиограмму. Вошел Вандерхузе, толкая перед собой столик на колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной легкостью, которая сделала бы честь самому квалифицированному киберу, он поставил поднос с тарелками у правого локтя Комова. Комов рассеянно поблагодарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и налил еще.

— А салат? — огорченно спросил Вандерхузе.

Я покачал головой и сказал в спину Комову:

— У меня все закончено. Можно быть свободным?

— Да, — ответил Комов, не оборачиваясь. — Из корабля не выходить.

В коридоре Вандерхузе сообщил мне:

— Майка обедает.

— Истеричка, — сказал я со злостью.

— Напротив. Я бы сказал, что она спокойна и довольна. И никаких следов раскаяния.

Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за столом, ела суп и читала какую-то книжку.

— Здорово, арестант, — сказал я, усаживаясь перед ней со своим стаканом.

Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, прищурив один глаз.

— Как начальство? — осведомилась она.

— В тягостном раздумье, — сказал я, разглядывая ее. — Решает, вздернуть ли тебя на фок-рее немедленно или довезти до Дувра, где тебя повесят на цепях.

— А что на горизонтах?

— Без изменений.

— Да, — сказала Майка, — теперь он больше не придет.

Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлебнул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Вандерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг пришло в голову: а капитан-то наш рад-радехонек, что не он командует в сей кампании.

— Да, — сказал я, — похоже на то, что контакт ты нам сорвала.

— Грешна, — коротко ответила Майка и снова уткнулась в книгу. Только она не читала. Она ждала продолжения.

— Будем надеяться, что дело обстоит не так

плохо, — сказал Вандерхузе. — Будем надеяться, что это просто очередное осложнение.

— Вы думаете, Малыш вернется? — спросил я.

— Думаю, да, — сказал Вандерхузе со вздохом. — Он слишком любит задавать вопросы. А теперь у него появилась масса новых. — Он доел салат и поднялся. — Пойду в рубку, — сообщил он. — Сказать по правде, это очень некрасивая история. Я понимаю тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. Так, знаешь ли, не поступают…

Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, толкая перед собою столик. Как только шаги его затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но строго:

— Ты это сделала нарочно или случайно?

— А ты как полагаешь? — спросила Майка, уставясь в книгу.

— Комов взял вину на себя, — сказал я.

— То есть?

— Лампа-вспышка была включена, оказывается, по его небрежности.

— Очень мило, — произнесла Майка. Она положила книжку и потянулась. — Великолепный жест.

— Это все, что ты можешь мне сказать?

— А что тебе, собственно, нужно? Чистосердеч-

ное признание? Раскаяние? Слезы в жилетку?

Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался.

— Прежде всего я хотел бы узнать, случайно или нарочно?

— Нарочно. Что дальше?

— Дальше я хотел бы узнать, для чего ты это сделала?

— Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда прекратить безобразие. Дальше?

— Какое безобразие? О чем ты говоришь?

— Потому что это было отвратительно! — сказала Майка с силой. — Потому что это было бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как гнусная комедия превращается в трагедию. — Она отшвырнула книжку. — И нечего сверкать на меня глазами! И нечего за меня заступаться! Ах, как он великодушен! Любимец доктора Мбоги! Все равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, чтобы они вовремя хватали за руку всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают!

У меня было благое намерение выдержать вежливый, корректный тон до конца. Но тут терпение мое лопнуло. У меня вообще дело с терпением обстоит неважно.

— Нагло! — сказал я, не находя слов. — Нагло себя ведешь! Нагло!

Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхлебать.

— А дальше? — спросила Майка, презрительно усмехаясь.

— Все, — сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан. Действительно, сказать мне было больше нечего. Расстрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто чтобы обругать ее.

— А если все, — сказала Майка, — то иди в рубку и целуйся со своим Комовым. А заодно со своим Томом и прочей своей кибертехникой. А мы, знаешь ли, просто люди, и ничто человеческое нам не чуждо.

Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ — нет у меня товарища. Ну что ж, перебьемся.

— Приятного аппетита, — сказал я и на негнущихся ногах направился в коридор.

Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дрожали. Я заперся у себя в каюте, повалился на постель и уткнулся носом в подушку. В голове у меня в горькой и бездонной пустоте кружились,

сталкивались и рассыпались невысказанные слова. Глупо. Глупо!.. Ну ладно, ну не нравится тебе эта затея. Мало ли кому что не нравится! В конце концов, тебя сюда не приглашали, случайно ты здесь оказалась, так уж веди себя как полагается! Ведь не понимаешь же ничего в контактах, квартирьер несчастный… Снимай свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят! Ну что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты их вообще видела — абстрактные? Ведь сегодня она абстрактная, а завтра без нее история остановится… Ну, хорошо, ну, не нравится тебе. Ну, откажись!.. Ведь так все шло славно, только-только с Малышом сошлись, такой парень чудесный, умница, с ним горы можно было бы своротить! Эх ты, квартирьер… Друг, называется… А теперь вот ни Малыша, ни друга… И Комов тоже хорош: ломится, как вездеход, напролом, ни посоветуется, ни объяснит ничего толком… Не-ет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участвовал — дудки! Кончится вся эта кутерьма, немедленно подаю заявление в проект «Ковчег-2» — с Вадиком, с Таней, с головастой Нинон, в конце концов. Как зверь буду работать, без болтовни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов!.. Незаметно я заснул и спал так, что только бурболки отска-

кивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за последние двое суток я не проспал и четырех часов. Еле-еле Вандерхузе меня добудился. Пора было на вахту.

— А Майка? — спросил я спросонок, но тут же спохватился. Впрочем, Вандерхузе сделал вид, что не расслышал.

Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сообщив, что вокруг корабля ничего не происходит и что через шесть часов меня сменит Комов.

Было ровно двадцать два по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана — рвал в клочья туманную шапку над горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж. Я включил внешнюю акустику, с минуту

послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке и снова отключился.

Я попытался представить себе, что сейчас делает Малыш, вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, а точнее — не света, конечно, а тепла, и это ровное сияние, наполненное кашей странных звуков, и загадочный строй отражений, которые не были отражениями… Ну что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно и есть, ох есть, о чем поразмышлять. Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Майка. («Мам-ма…» — «Да, колокольчик», — вспомнил я.) С точки зрения Малыша все это должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда никогда бы не пришел… А ведь Комов так обрадовался, когда Майка нацепила на Малыша свой обруч. «Молодец, Майя, — сказал он. — Это хороший шанс, я бы не рискнул…» Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого не додумали. Объектив, например, надо было делать стерео… Хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей… Но кое-что подсмотреть все-таки удалось. Скажем, как Малыш летел. Только — ка-

ким образом летел, почему летел, на чем летел?.. И эта сцена у разбитого «Пеликана»... Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройтись локатором-пробником по горизонту...

Запел радиовызов. Я подошел к рации. Незнакомый голос очень вежливо, я бы даже сказал — робко, попросил Комова.

— Кто вызывает? — осведомился я не очень приветливо.

— Это такой член Комиссии по контактам. Горбовский моя фамилия. — Я сел. — Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?

— Сейчас, Леонид Андреевич, — забормотал я. — Сию минутку, Леонид Андреевич... — Я торопливо включил интерком. — Комова в рубку, — сказал я. — Срочный вызов с базы.

— Да не такой уж срочный... — запротестовал Горбовский.

— Вызывает Леонид Андреевич Горбовский! — торжественно добавил я в интерком, чтобы Комов там не слишком копался.

— Молодой человек… — позвал Горбовский.

— На вахте Стась Попов, кибертехник! — отрапортовал я. — За время моей вахты никаких происшествий не произошло!

Горбовский помолчал, потом неуверенно произнес:

— Вольно…

Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лицо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами темные круги. Я поднялся и уступил ему место.

— Комов слушает, — проговорил он. — Это вы, Леонид Андреевич?

— Это я, здравствуйте… — отозвался Горбовский. — Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки…

Комов только глянул на меня, и руки мои сами протянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным. По разным причинам.

— Ага, — удовлетворенно сказал Горбовский. — Вот я вас начинаю видеть.

На нашем экранчике тоже появилось изображение — знакомое мне по портретам и описаниям длинное и как бы слегка вдавленное внутрь лицо

Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел этаким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имела место царапина — по-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место вахтенного. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности.

Горбовский сказал:

— Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное. Безумно интересно. Изобретательно, изящно… молниеносно…

— Польщен, — отрывисто сказал Комов. — Но?

— Почему «но»? — удивился Горбовский. — «И» — вы хотите сказать. И большинство членов Комиссии придерживается того же мнения. Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток.

— Я здесь ни при чем, — сухо сказал Комов. — Благоприятные обстоятельства, только и всего.

— Нет, не говорите, — живо возразил Горбов-

ский. — Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто — знать заранее. А потом — ваша решительность, интуиция… энергия…

— Я польщен, Леонид Андреевич, — повторил Комов, чуть повысив голос.

Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил:

— Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу Малыша?

Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгновение ока, с наивозможной быстротой и прямотой попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежился и перестал дышать.

Комов сказал:

— Малыш будет посредником между Землей и аборигенами.

— Я понимаю, — сказал Горбовский. — Это было бы прекрасно. А если контакт не состоится?

— Леонид Андреевич, — произнес Комов жестко. — Давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить Малыша в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стрем-

люсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, человеческое, земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим Малыша. Они отталкиваются от нас, они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подсознание Малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в Малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас, — ситуация критическая. Сознание Малыша принадлежит нам. Подсознание — им. Конфликт очень тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить Малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и Малыш превратится целиком и полностью в нашего сотрудника. Вы не можете не понимать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество… Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у Малыша — после того как мы раскроем ему истинное положение дел — в сознательное стремление защитить от нас свой

«дом», своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения. Но я уверен: мы сумеем убедить Малыша, что наши цивилизации — это равные партнеры со своими достоинствами и недостатками, и тогда он, как посредник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением, жизнь его будет радостна и полна... — Комов помолчал. — Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого случая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.

— Понимаю, — сказал Горбовский. — Знаю ваши идеи, ценю их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем, мне было страшно, но я все думал: а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности!.. И еще я все время думал, что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело зайдет так далеко уже через двое суток. — Горбовский сделал паузу. — Геннадий, контакта ведь не будет. Пора

бить отбой.

— Контакт будет! — сказал Комов.

— Контакта не будет, — мягко, но настойчиво повторил Горбовский. — Вы ведь прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией. С разумом, замкнутым на себя.

— Это не замкнутость, — сказал Комов. — Это квазизамкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спасли и воспитали Малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, Леонид Андреевич.

— Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость — это теоретическая идеализация. Конечно, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же касается Малыша… Конечно, все это домыслы, но ведь если цивилизация достаточно стара, гуманизм ее мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность…

— Все это возможно, — сказал Комов. — Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки для контакта остаются.

Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией… Нет, Леонид Андреевич. Обо всем этом я думал, и вы сами хорошо понимаете, что ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего — и только. Вы предлагаете отступиться, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца.

— Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет, — тихонько сказал Горбовский.

— Кто же еще? — осведомился Комов с легкой иронией. — Август-Иоганн-Мария Бадер?

— Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий… Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер бортжурнал не на планете, а еще в космосе; не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокоразвитая агрессивная цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно, — вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И

вот два часа назад пришло сообщение, что он, наконец, обнаружен. — Горбовский замолчал.

Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: «Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать.

— Он великолепно замаскирован. Он поглощает почти все лучи. Мы бы никогда не нашли его, если бы не искали специально, да и то пришлось применить что-то совсем новое — мне объясняли, но я не понял, что именно — какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его нащупали и взяли на абордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь Странники. Очень давно установили, порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена, мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной, иного объяснения я придумать не могу. Вопрос: почему? В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один: они на своем опыте поняли,

что местная цивилизация некоммуникабельна, более того — она замкнута, более того — контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август-Иоганн-Мария Бадер… Но, насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о Странниках, Геннадий. — Горбовский снова помолчал. — Однако дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзирая даже на мнение Странников, могли бы позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь предупреждающий знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом только наших двух цивилизаций… Но дело в том, что между нашими двумя цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас третья, и за эту третью, Геннадий, за единственного ее представителя, Малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности.

Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный,

какой-то надломленный. Заговорил он о Странниках: сначала подивился тому, что Странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением, но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым Странники всегда путешествуют целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ничем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувековая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск — слишком много жертв, слишком много нелепых ошибок, слишком мало толку. «Да, — соглашался Горбовский, — я тоже об этом думал». Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам. «У нас все руки не доходили проанализировать эти исчезновения, а ведь теперь они предстают в новом свете». — «И верно! — с энтузиазмом подхватил Горбовский. — Об этом я как раз не подумал, это очень интересная мысль». Поговорили об охранном спутнике, подивились, что он нес только два заряда, попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления Странников об обитаемости Вселенной, нашли,

что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений, но сама собой возникает мысль, что Странники, по-видимому, намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись — возможно, прав Боровик, полагая, что Странники вообще покинули Галактику. Комов полушутливо предположил, что аборигены и есть Странники — угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшиеся на себя. Горбовский опять намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать, как надлежит оценивать такую эволюцию Странников в свете теории вертикального прогресса.

Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, перескочили внезапно на умиротворение какой-то Островной Империи и о роли в этом умиротворении некоего Рудольфа, которого они почему-то тоже называли Странником; плавно и как-то неуловимо перешли от Рудольфа к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации… Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное — почему они говорят именно об этом.

Потом Горбовский сказал:

— Я вас совсем заморил, Геннадий, извините. Идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы таки давненько не видались.

— Но скоро, конечно, увидимся вновь, — проговорил Комов с горечью.

— Да, думаю, дня через два. Бадер уже в пути, Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь КОМКОН будет на базе.

— Значит, до послезавтра, — сказал Комов.

— Передайте привет вашему вахтенному… Стасю, кажется. Очень он у вас… такой… строевой, я бы сказал. И Якову, Якову обязательно передавайте привет! Ну, и всем остальным, конечно.

Они попрощались.

Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно таращиться на обзорный экран, ничего не видя, ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня окаменела шея и кололо под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно: «А что мне Странники? Подумаешь, Странники! Я сам, в некотором роде, Странник…»

Вдруг Комов сказал:

— Ну а ваше мнение, Стась?

Я чуть было не ляпнул: «А что нам Странники?» — но удержался. Посидел секунду в прежней позе для значительности, а потом повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полузакрыты, рот какой-то скорбный.

— Наверное, придется выждать… — сказал я. — Что ж делать… Да и Малыш, может быть, больше не придет… Во всяком случае, не скоро придет…

Комов усмехнулся краем рта.

— Малыш-то придет, — сказал он. — Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь новых вопросов?

Это было почти слово в слово то, что сказал в кают-компании Вандерхузе.

— Тогда, может быть… — пробормотал я нерешительно, — может быть, и на самом деле лучше…

Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после самого Комова, что мог сказать незаметный рядовой кибертехник, двадцати лет, стаж практической работы шесть с половиной суток, — парень, может быть, и неплохой, трудо-

любивый, интересующийся и все такое, но, прямо надо признать, не великого ума, простоватый, невежественный…

— Может быть, — вяло сказал Комов. Он поднялся, направился, шаркая подошвами, к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг исказилось. Он почти выкрикнул: — Неужели же никто из вас не понимает, что Малыш — это случай единственный, случай, по сути дела, невозможный, а потому единственный и последний! Ведь этого больше не случится никогда. Понимаете? Ни-ког-да!

Он ушел, а я остался сидеть лицом к рации и спиной к экрану и старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда!.. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались! Бедный Комов, бедная Майка, бедный Малыш… А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет полегче, Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный — Комов. Это же надо придумать: наткнуться — лично наткнуться! — на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести наконец под свои идеи экспериментальный базис, и вдруг — все вдребезги! Вдруг тот самый Малыш, который должен

был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие… Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее Малыша или вертикальный прогресс человечества. Тут какая-то логическая каверза, вроде апорий Зенона… Или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить? Человечество все-таки… В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели у меня из головы.

Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, на самой границе мертвой зоны, перед входным люком, и я сразу понял, что это Малыш сидит там на снегу и не решается войти — одинокий, раздираемый между двумя цивилизациями…

Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил было доху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек, испрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка, у меня под ногами, чернел какой-то круглый предмет. Я попятился. Черт знает, какая

дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться.

Это был наш мяч. А на мяч был напялен обруч с «третьим глазом». Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом.

И ни одного следа на снежной пелене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется побеседовать.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Побеседуем? Давай?

Для связи выделено четыре часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписания. Он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник Странников… Я не сержусь. На него нельзя сердиться.

— Здравствуй, Малыш, — отзываюсь я. — Конечно, давай побеседуем.

Он жмурится, как бы от удовольствия, и задает свой стандартный вопрос:

— Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое

изображение?

Я уверяю его, что это я, собственной персоной, Стась Попов, лично и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения, и он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он так шутит, может быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него любимые слова — «изображение», «феноменально», «по бим-бом-брамселям»…

— Почему глаз видит? — начинает он.

Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать, и хотя теперь он бросил эту свою манеру — метаться как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает, — я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неописуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания.

— Феноменально! — хвалит он, когда я заканчиваю. — Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз…

Между прочим, эти его одинокие размышления

над прослушанным (бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев) наводят его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас:

— Как узнали, что люди думают головой? — спрашивает он.

Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слушает меня по-прежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но когда я заканчиваю, он объявляет:

— Нет. Это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?..

Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести Малыша на идею аборигенов. И предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удается, и в последнее время я заметил, что Малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает догадываться? Кто его знает… Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его…

— Почему вы можете, а я не могу?

— Этого мы еще толком не знаем, — признаюсь я и осторожно добавляю: — Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек…

— Тогда что же такое человек? — немедленно осведомляется он. — Что такое человек совсем?

Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный Информаторий работает на меня, крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знания работают на меня, я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений — относительно моделирования П-абстракций, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов…

— У тебя усталый вид, — сочувственно замечает Малыш. — Ты устал?

— Ничего, — говорю я. — Терпеть можно.

— Странно, что ты устаешь, — сообщает он задумчиво. — Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?

Я набираю в грудь побольше воздуху и при-

нимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собою камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К моменту, когда я заканчиваю, перед Малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но тем не менее в своем роде гармоническое и странно осмысленное.

— Ты рассказал хорошо, — говорит Малыш. — Скажи мне, наша беседа записывается?

— Да, конечно.

— Изображение хорошее, четкое? Изображение!

— Как всегда.

— Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед: узлы остывания здесь, здесь и здесь…

Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсиваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и Малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что Малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально,

и некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсиваля.

— Обязательно, — говорю я. — Непременно передам. Сегодня же.

— А может быть, это пустяки, — вдруг заявляет Малыш и одним движением сметает всю свою конструкцию. — Что сейчас делает Лева? — спрашивает он.

Лева — это старший инженер базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Леву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна бакенбард до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же, Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуждается в

помощи, — когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь…

— Лева спит, — говорю я. — У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток.

— Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?

— Это не страшно, — говорю я искренне. — Мне интереснее с тобою, чем спать.

— Нет. Ты иди и спи, — решительно распоряжается Малыш. — Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.

Это «мы» подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем, Малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.

— Иди спать, — повторяет Малыш. — Но только скажи мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на этот берег?

— Никто, — говорю я, как обычно. — Можешь не беспокоиться.

— Это хорошо, — говорит он с удовлетворением. — Так ты спи, а я пойду поразмышляю.

— Конечно, иди, — говорю я.

— До свидания, — говорит Малыш.

— До свидания, — говорю я и отключаюсь.

Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь.

Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на двухсоткилометровой высоте, мою базу, состыкованную со спутником Странников, а за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег — песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним — тонкие длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого.

Там у них сейчас весна, на кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись,

он протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Ты уже поспал?

— Да, — отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно.

— А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась. Верно?

— Да, — говорю я. — Это было бы неплохо.

— Сверчок на печи, — говорит он и некоторое время молчит.

Я жду.

— Ладно, — бодро говорит Малыш. — Тогда давай опять побеседуем. Давай?

— Конечно, — говорю я. — Давай.

1970